



18+

A M O C O 3

M A

Амос Оз

Фима. Третье состояние

«Фантом Пресс»

1991

УДК 821.4
ББК 84.(5Изр.)

Оз А.

Фима. Третье состояние / А. Оз — «Фантом Пресс», 1991

ISBN 978-5-86471-758-5

Фима живет в Иерусалиме, но всю жизнь его не покидает ощущение, что он должен находиться где-то в другом месте. В жизни Фимы хватало и тайных любовных отношений, и нетривиальных идей, в молодости с ним связывали большие надежды – его дебютный сборник стихов стал громким событием. Но Фима предпочитает размышлять об устройстве мира и о том, как его страна затерялась в лабиринтах мироздания. Его всегда снедала тоска – разнообразная, непреходящая. И вот, перевалив за пятый десяток, Фима обитает в ветхой квартирке, борется с бытовыми неурядицами, барахтается в паутине любовных томлений и работает администратором в гинекологической клинике. Его любят все, но выносят его общество с трудом. Он тот, кто позволил мечтам и фантазиям победить реальность. Яичница у него всегда подгорает, бутерброд падает вниз вареньем, мертвый таракан читает ему экзистенциальные нотации, а приход маляров видится апокалипсисом. Но в хаосе Фиминой жизни неярко, но уверенно и стойко мерцает светлячок. Надежды? Любви? Мудрости? Кто знает. Амос Оз выписывает портрет человека и поколения, способных на удивительные мечты, но так в мечтах и застрявших. Это один из самых “русских” романов израильского классика, в котором отчетливо угадываются тени Пушкина, Гоголя и Чехова. Как пишет сам Амос Оз: “Фима – это Евгений Онегин из квартала Кирьят Йовель и иерусалимский Обломов, с которым моего героя связывает много нитей.”

УДК 821.4
ББК 84.(5Изр.)

ISBN 978-5-86471-758-5

© Оз А., 1991

© ФАНТОМ Пресс, 1991

Содержание

1. Обещание и милость	7
2. Фима встает на работу	9
3. Змеиное гнездо	14
4. Надежды на новую страницу	23
5. Фима в темноте мокнет под проливным дождем	30
6. Будто она была его сестрой	37
7. Тощим кулаком	42
8. Разногласия относительно индусов: кто они	43
Конец ознакомительного фрагмента.	51

עמוס אוז

המצב השלישי

Амос Оз

Фима. Третье состояние

Перевод этой книги с глубоким уважением посвящается памяти дорогой Инны Шофман, которая много лет был редактором моего друга и переводчика Виктора Радуцкого и внесла большой вклад в то, чтобы мои книги зазвучали по-русски. Да будет благословенна ее память.

Амос Оз

Copyright © 1991, Amos Oz
All rights reserved

© Виктор Радуцкий, перевод, 2017
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2017
© “Фантом Пресс”, издание, 2017

Издание осуществлено при содействии The Wylie Agency
Перевод с иврита Виктора Радуцкого

1. Обещание и милость

За пять ночей до того, как стряслось несчастье, приснился Фиме сон. В половине шестого он открыл глаза и записал сон в книгу, куда заносил увиденные сны. Эта книга для записей в коричневом переплете всегда лежала подле кровати на полу, заваленная газетами и брошюрами. У Фимы давно уже завелась привычка записывать увиденное ночью, не вылезая из постели, когда сквозь щели жалюзи начинает пробиваться бледный рассвет. А если ночью он ничего не увидел или же попросту позабыл, то и тогда зажигал он лампу, затем, поморгав немного, садился в кровати, водружал на согнутые колени в качестве подставки толстый журнал и записывал, к примеру, следующее:

Двадцатое декабря – пустая ночь.

Или:

Четвертое января – что-то с лисицей и лестницей, но подробности стерлись.

Дату он обычно писал словами, а не цифрами. Затем вставал и, помочившись, снова укладывался в постель – пока не заворкуют голуби за окном, не залает собака, не защебечет совсем рядом птица, и в голосе ее он уловит изумление, будто она глазам своим не верит. Тогда Фима решал, что пора вставать, прямо сейчас, минуты через две-три, ну через четверть часа, не более, но засыпал снова и спал до восьми, а то и до девяти, ведь работа в клинике начиналась в час дня. Фима давно понял, что во сне меньше лжи, чем в бодрствовании. Понял он и другое: для него правда отнюдь не лежит в пределах досягаемости, а потому он хотел отдалиться, насколько это возможно, от той мелкой лжи, которой наполнена повседневность, серой пылью проникающей повсюду, даже в места укромные, укрытые от чужих взглядов.

Ранним утром понедельника, когда сквозь щели жалюзи просочилось мутноватое оранжевое мерцание, он уселся в постели и записал в свою книгу:

Появилась женщина, не красивая, но привлекательная, она не стала подходить к моей стойке в регистратуре, а прямоком прошла за стойку, а потом и мне за спину, вопреки надписи: “Вход только для сотрудников”. Я сказал: “Моя госпожа, вопросы – только перед стойкой, прошу вас”. Она засмеялась и сказала: “Слыхали мы это, Эфраим”. И хотя у меня нет никакого колокольчика, я сказал: “Любезная моя госпожа, если вы не выйдете, мне придется позвонить в колокольчик”. Но и эти слова вызвали у женщины только смех, нежный и мелодичный, будто журчанье тонкой струи чистой воды. У нее были худые плечи, чуточку морщинистая шея, но грудь и живот – нежные, округлые, как и икры, обтянутые шелковыми чулками со швами. Мое сердце вдруг тронул этот контраст между точеным телом и уставшим учительским лицом. “Есть у меня от тебя девочка, – сказала женщина, – и настало время, чтобы наша дочь познакомилась с тобой”.

И хотя я сознавал, что нельзя покидать рабочее место, что опасно следовать за ней, особенно босиком, ибо я вдруг оказался бос, внутри меня задрожало предвкушение, некий внутренний предвестник тревожил меня: если она левой рукой перебросит волосы через левое плечо, я должен идти за ней. И она, будто зная это, легким движением перебросила волосы со спины вперед, и они рассыпались по платью, укрыв левую грудь. Тут она сказала: “Пошли”.

И я последовал за ней, мы шли улицами и проулками, минуя парадные, ворота, ступая по каменным плитам внутренних двориков испанского Вальядолида, однако я знал при этом, что по-прежнему нахожусь здесь, в Иерусалиме, в Бухарском квартале. Хотя эта женщина в детском хлопковом платьице, в будоражащих воображение чулках была совершенной незнакомкой, с которой я никогда в жизни не встречался, меня снедало желание увидеть девочку. И входили мы в ворота, пересекали задние дворы, накрытые сетью веревок, провисших под тяжестью белья, выходили в новые проулки и оказались наконец на какой-то старинной площади, освещенной одиноким фонарем, мокрой от дождя. Ибо начался дождь, не сильный, не

потоп вселенский, да и не дождь вовсе, а капли влаги, висящие в воздухе, растворяющиеся во тьме. Ни единой живой души не встретили мы по дороге. Даже кошки. И вдруг женщина остановилась, мы были в коридоре, сохранившем следы ветшающей, осыпающейся роскоши, – толи вход во дворец в восточном стиле, то ли всего лишь туннель, соединяющий один мокрый двор с другим мокрым двором. У входа на стене – разбитые почтовые ящики, искрошившиеся изразцы; женщина обернулась и сняла с моей руки часы, указала на рваное армейское одеяло в углу, словно освобождение от наручных часов – прелюдия к обнаженности и теперь мне предстоит родить от нее дочь; и я спросил: “Где же мы и где же эти дети?” Ибо как-то так получилось, что во время нашего путешествия “девочка” обратилась в “детей”. Женщина сказала: “Карла”. Я не понял: зовут ли Карлой девочку или эту женщину, или же карла обозначает обнаженность худеньких девочек, или карла – призыв обнять женщину, согреть ее. И я обнял ее, все ее тело задрожало, но не от страсти, а от отчаяния, и она прошептала, преодолевая это отчаяние: “Не бойся, Эфраим, я знаю дорогу, я выведу тебя живым на арийскую сторону”. Шепот ее был преисполнен обещания и милости, и я снова поверил и доверился ей и пошел за нею с радостью и воодушевлением, ничуть не удивляясь тому, что она превратилась в мою мать, не задаваясь вопросом, где же “арийская сторона”. Пока не добрались мы до воды. У самой кромки, широко расставив ноги, стоял человек в темной форме, с желтыми, типично армейскими усами. “Пора расстаться”, – прошепестел голос.

Я понял, что ей холодно, что дрожит она из-за близости воды, что более я ее не увижу. И проснулся я с сожалением, но даже сейчас, когда я заканчиваю писать, сожаление переполняет меня.

2. Фима встает на работу

Фима выбрался из постели, пропотевший от сна, раздвинул створки жалюзи, посмотрел на начало зимнего иерусалимского дня. Ближние дома вовсе не виделись близкими, напротив, они были далеки и от него, и друг от друга, а между ними плавали клочья тумана. Никаких признаков жизни не заметил он на улице. Словно сон все еще длился. Но теперь это был не переулок, вымощенный камнем, а знакомая потрепанная улица на юго-западной окраине иерусалимского квартала Кирыят Йовель – ряд многоквартирных жилых домов, громоздких, неуклюжих, на скорую руку возведенных в конце пятидесятих годов. Почти все балконы жители закрыли, оградив их от улицы кирпичом, цементом, асбестовыми листами, стеклом и алюминием. Там и сям стояли пустые цветочные ящики, битые вазоны жались к ржавым оградам. На юге Фима видел горы Вифлеема, затянутые серой хмарью, выглядевшие этим утром уродливыми, нечистыми, словно это не горы, а нагромождения промышленных отходов. Кто-то из соседей тщетно пытался завести автомобиль, отсыревший мотор чихал, кашлял, захлебывался и снова натужно чихал и кашлял, хрипел, будто безнадежный больной, чьи легкие изъедены болезнью, а он все курит и курит, без передышки. Вновь Фиму охватило чувство, что он находится здесь по ошибке, что ему следует быть где-то совсем в ином месте.

Но чья это ошибка и где располагается это “иное место”, нынешним утром он не знал, как, впрочем, и в другие утра.

Хрипы мотора пробудили и в нем утренний кашель, и Фима отошел от окна, чтобы не начинать день свой в праздности и сожалениях. “Лентяй!” – подбодрил он себя. И приступил к неуютительной зарядке – растягивание да наклоны; проделывал он их перед зеркалом, испещренным островами и материками, береговая линия которых извивалась заливами и фьордами. Зеркало держалось на дверце шифоньера, старинного, темного дерева, купленного для него отцом лет тридцать назад. Возможно, следовало спросить женщину, почему надлежит им расстаться, но он упустил свой шанс.

Фима презирал людей, что торчат у окна, выглядывая, что там снаружи. Особенно не выносил, когда в окна глазели женщины. До развода он постоянно злил Яэль грубыми окриками, когда замечал, что она стоит у окна и разглядывает улицу или горы.

– Что, опять нарушаю устав?

– Ты ведь знаешь, что меня это выводит из себя.

– Это твоя проблема, Эфи.

Но нынешним утром его злили даже гимнастические упражнения перед зеркалом, он быстро устал и уже через две-три минуты прекратил наклоны и снова обозвал себя лентяем. Тяжело дыша, насмешливо добавил:

– Твоя проблема, господин любезный.

Было Фиме пятьдесят четыре года, и за годы своей одинокой жизни он привык разговаривать сам с собою. Эту привычку он относил к ритуалам старого холостяка – как и вечно теряющуюся крышку от банки с вареньем; выстригание волосков в одной ноздре при забытой второй; вжиканье молнии на брюках еще в коридоре, на подступах к туалету, дабы не терять попусту время. Имелось у него и такое холостяцкое обыкновение: пуская вялую струю, он, бывало, не доставал до унитаза и тогда сливал воду, чтобы звуки энергичного журчания растормошили сонный мочевой пузырь, – и силился завершить дело до того, как бачок опорожнится, устраивал соревнование жидкостей, сливаемых бачком и им самим. Это соревнование он неизменно проигрывал, после чего приходилось выбирать между досадным ожиданием (причиндал в руке, остатки мочи на щите водной поверхности), пока вновь наполнится сливной бачок, и полной капитуляцией. Не желая сдаваться и одновременно не желая ждать, Фима сердито дергал ручку бачка еще до того, как тот наполнится. Но нового потока хватало лишь на то, чтобы вновь

навязать ему отвратительный выбор между ожиданием и капитуляцией. А ведь в жизни его были и несколько романов, и выпестованные идеи, и один сборник стихов, спровоцировавший в свое время некоторые надежды в кругах ценителей поэзии. Были у него и размышления о смысле мироздания, и ясные убеждения в том, что страна сошла со своего пути, и детально разработанные фантазии о новом политическом движении, и тоска по прошлому, и постоянное стремление начать все с чистого листа – все это у него было. И вот он стоит тут один, в своей запущенной квартире, за окном мутная утренняя хмарь, а он втянут в унижительное сражение за то, чтобы освободить полы рубашки из плена брючной молнии. А с улицы какая-то насквозь мокрая птица настойчиво долдонит фразу из трех нот, словно она-то уж знает, что он умственно отстал и не понять ему ничего до окончания века.

Именно так, подмечая свои привычки заскорузлого холостяка, подробно и точно их классифицируя, надеялся Фима отдалить себя от себя, создать дистанцию для насмешек, защитить свою тоску и свою гордость. Но случилось, что в педантичном отслеживании этих смешных или навязчивых привычек ему вдруг открывалось, будто в озарении, что привычки эти – вовсе не линия укреплений, разделяющая его и вот этого старого холостяка, а хитроумные козни, что плетет против него старый холостяк, явно намереваясь подвинуть его в сторону, обогнать, занять его, Фимино, место.

Фима вернулся к шкафу и рассмотрел себя в зеркале. И понял: его долг – почувствовать, глядя на собственное тело, не отвращение и не отчаяние, не жалость к самому себе, а примирение. Из зеркала на него глядел бледный клерк, несколько тяжеловатый, со складками жира на чреслах, в белье не первой свежести, с белыми и тонкими – соотносительно с брюшком – ногами, поросшими редкими черными волосками, с седой головой, с покатыми плечами. Вокруг сосков на его незагорелой груди виднелись бугорки – прыщики с алыми точками в центре. Он принялся давить их большим и указательным пальцами. Треск лопающихся прыщей, брызги желтоватого их содержимого доставляли ему легкое удовольствие, мутное, раздражающее. Пятьдесят лет, какие длится беременность у слонов, вызревал этот унылый чиновник в теле мальчика, юноши и мужчины. И вот промелькнули пятьдесят лет, беременность завершилась, лоно разверзлось, и бабочка исторгла куколку. Вот она перед зеркалом.

И вместе с тем видел Фима, как все начисто изменилось, как перевернулось с ног на голову – отныне и вовеки в глубоком сумраке матки народившейся куколки будет прятаться мальчик, тонкий и хрупкий, глядящий на мир в изумлении.

Примирение, сопровождаемое легкой усмешкой, содержит порой и свою полную противоположность: внутреннее влечение к мальчику, юноше, мужчине, из чрева которых явилась куколка. И тогда на миг открывалось ему то, что было утеряно безвозвратно, приходило очищенное, закаленное, защищенное от тоски и сожаления. Словно заключенная в вакууме стеклянного шара, возвращалась ему на миг любовь Яэль – с прикосновением ее губ, языка к коже за ухом, в ее шепоте: “Здесь, коснись меня здесь...”

Фима нерешительно помешкал в ванной, обнаружив, что закончилась пена, но тут же встрепенулся – можно ведь намылиться обычным мылом. Да только мыло, вместо присущего ему аромата, источало почему-то кислый душок подмышек в самый жаркий летний день. Он выскреб бритвой свои щеки до красноты, но позабыл выбрить щетинки под подбородком. Затем, вымывшись горячей водой, преисполнился мужества и завершил омовение тридцатью секундами под струей холодной воды. На мгновение почувствовал себя свежим и бодрым, готовым начать новую страницу своей жизни, но полотенце, влажное еще со вчерашнего дня – с позавчерашнего, с дней предыдущих, – вновь окутало его затхлым запахом ночи, будто надел несвежую, не один день ношенную рубаху.

Из ванной он направился в кухню, включил электрический чайник, чтобы приготовить себе кофе, вымыл одну из грязных чашек, сваленных в раковине, положил в чашку две таблетки сукразита и две ложечки растворимого кофе, прошел в комнату, дабы прибрать постель.

Борьба с покрывалом длилась три-четыре минуты, а возвратясь на кухню, он обнаружил, что оставил открытой дверцу холодильника. Он достал маргарин, варенье и йогурт, початый еще вчера, и тут выяснилось, что какое-то глупое насекомое решило свести счеты с жизнью, избрав для этого именно эту открытую баночку йогурта. Фима ложкой попытался выловить трупик, однако лишь утопил его глубже. Он выбросил баночку в мусорное ведро, ограничился только черным кофе, решив, что и молоко наверняка скисло, пока холодильник стоял нараспашку. Он собрался включить радио и послушать новости: вчерашнее заседание правительства затянулось глубоко за полночь. Может, Генеральный штаб отправил в Дамаск особый отряд, чтобы захватить сирийского президента Хафеза Асада? Или Арафат просит позволить ему прибыть в Кнессет¹ и выступить там с речью? Фима предпочел счесть, что речь, самое большее, шла о девальвации валюты или о каком-то коррупционном скандале. В воображении он видел, как собирает своих министров на заседание кабинета в полночь. Некий, почти реликтовый, революционный дух, сохранившийся со времен его участия в молодежном социалистическом движении, побудил его созвать это заседание именно здесь, в запущенной классной комнате начальной школы в бедном районе Катамон, что на южной окраине Иерусалима, среди облупившихся парт, с таблицей умножения, выведенной мелом на доске. Сам он, в рабочей куртке, в истрепанных штанах, сядет на подоконник, а не за учительский стол. Развернет перед собравшимися министрами безжалостную картину реальности. Поразит описанием стусившегося несчастья. Под утро большинством голосов проведет решение вывести из Газы все наши воинские подразделения, даже безо всякого соглашения с палестинцами. И если те примутся стрелять по нашим населенным пунктам, то он разбомбит их с воздуха. Но если они будут соблюдать спокойствие, если докажут, что и они стремятся к миру, то мы подождем год-другой и начнем переговоры с ними о будущем Шхема и Хеврона.

После кофе он влез в коричневый косматый свитер, делавший его похожим на медведя, – свитер, оставленный Яэль, взглянул на часы и понял, что пропустил утренние семичасовые новости. И потому спустился к почтовому ящику за газетой “Ха-Арец”, но ключ от ящика он оставил в квартире, и пришлось вытягивать газету через прорезь, порвав первую страницу. На лестнице он остановился, прочитал заголовки, поднялся на несколько ступеней, снова остановился, окончательно уверившись, что эта страна попала в руки законченных безумцев, поступки которых продиктованы Гитлером и Холокостом, что эти люди так и норовят свести к нулю, изничтожить даже малейшую попытку достижения мира, поскольку мир этот видится им нацистскими кознями, намерениями стереть с лица земли еврейский народ и еврейскую страну. Но, добравшись-таки до своей двери, он сообразил, что опять противоречит самому себе, предостерегая себя от истерии и плаксивости, столь характерной для израильской интеллигенции, – мол, мы обязаны всеми силами уберечься от глупейшего соблазна поверить в то, что негодяи и злодеи рано или поздно заплатят по счету. Готовя вторую чашку кофе, он мысленно отметал свои предыдущие рассуждения, прибегнув к формулировке, которую часто использовал в политических дискуссиях с Ури Гефеном, Цвикой и другими товарищами: мы обязаны научиться существовать и действовать в промежуточном состоянии, которое, к несчастью, может длиться долгие годы, мы не должны реагировать на реальность, растрачивая себя на злобу и неприятие. Душевная неготовность существовать в таком промежуточном состоянии, страстная одержимость поскорее добраться до финальной строки и увидеть конечный результат – вне всякого сомнения, это наглядные симптомы нашей политической импотенции.

Закончив читать мнение обозревательницы о телевизионной программе, которую он вчера собирался посмотреть, но забыл, он глянул на часы и обнаружил, что пропустил и восьмичасовые новости. Рассердившись на себя, он подумал, что ему давно пора было сидеть за письменным столом и трудиться. Он повторил про себя слова из сна: “Пора расстаться”. Но

¹ Парламент Израиля, расположен в Иерусалиме.

с кем расстаться, с чем? Голос близкий, нежный, теплый, не мужской и не женский, полный симпатии и милости. “А где же ты, Эфраим?” – спросил голос. Фима пробормотал: “Просто замечательный вопрос”, уселся за стол и уставился на груды писем, на которые он так и не ответил, на список покупок в бакалейной лавке, что на исходе субботы он составил, затем вспомнил, что нынче утром должен позвонить по одному безотлагательному делу, вот только кому, вспомнить не смог.

Тогда он набрал номер Цвики Кропоткина, разбудил его, перепугался и долго-долго извинялся, но продержал на линии минут двадцать, обсуждая и тактические просчеты левых, и явно наметившиеся перемены в позиции США, и бомбу замедленного действия окружающего нас исламского фундаментализма, часовой механизм которой уже приведен в действие. Пока Цви не взмолился: “Фима, прости, не сердись, но мне пора одеваться, у меня скоро урок”. Фима завершил беседу так, как и начал – пространными оправданиями и извинениями, но так и не вспомнил, кому должен был позвонить этим утром, или, напротив, кто-то должен был позвонить ему, а он пропустил этот важный звонок. Возможно, как раз из-за разговора с Цви, который, по сути, разговором-то не был, а, как ему сейчас вполне стало ясно, был его монологом. Поэтому Фима воздержался от звонка Ури Гефену и с усердием принялся проверять компьютерную распечатку, присланную из банка, но так и не сумел понять: то ли поступили на его счет шестьсот шекелей, то ли сняли с его счета четыреста пятьдесят. Или все наоборот? Голова его упала на грудь, глаза закрылись, и перед ним потянулись толпы возбужденных мусульманских фанатиков, сметающих и сжигающих все на своем пути. И площадь опустела, и обрывки желтой бумаги закружились в вихре, но хлынувший дождь прибил их к земле – дождь, ливший везде, вплоть до самых гор Вифлеемских, тонувших в клочковатом тумане. Где же ты, Эфраим? Где же арийская сторона? Холодно ли ей? Почему ей холодно?

Фима проснулся от прикосновения тяжелой длани. Он открыл глаза и увидел коричневую руку отца, возлежашую, словно черепаха, на его бедре, стариковскую руку, широкую, с плоскими пожелтевшими ногтями, покрытую холмами и долинами, изрезанную голубыми ниточками сосудов, со старческими пятнами меж редких волосков. На миг его захлестнул ужас, но тут же он сообразил, что рука – его собственная. Он встряхнулся и трижды перечитал написанные им в субботу тезисы для статьи, которую он обещал уже сегодня сдать в печать. Но то, что он собирался написать, что еще вчера вызвало в нем победительную радость и неиссякаемое остроумие, сейчас виделось пресным и безвкусным. И желание писать тотчас увяло.

Однако, поразмыслив, Фима решил, что не все потеряно – проблема носит характер чисто технический. Низкая облачность, туман и дождь погрузили комнату в сумрак. Мало света, вот и все. Он щелкнул выключателем настольной лампы, надеясь, что яркий свет побудит его заново начать статью, начать это утро, начать свою жизнь. Вот только лампа не зажглась. Вряд ли она сломалась, наверняка просто перегорела лампочка. Фима бросился штурмовать стенной шкаф в коридоре и, вопреки своим ожиданиям, не только нашел новую лампочку, но и сумел без происшествий заменить перегоревшую. Однако и новая лампочка не желала включаться – то ли тоже перегорела, то ли проявляла солидарность с товаркой. И Фима отправился на поиски третьей лампочки, но по дороге его посетила мысль: а не проверить ли свет в коридоре? И тут же снял все обвинения, предъявленные лампочкам, света не было и в коридоре, ясно, что дело в переboях с электричеством. Пока не засосало безделье, он решил позвонить Яэль, и если ответит ее муж, то он просто повесит трубку. А если ответит Яэль, то вдохновение подскажет ему нужные слова. Ведь такое уже случилось однажды, после бурной ссоры, когда он сумел мгновенно навести мосты примирения, сказав: “Если бы мы не были женаты, то я бы попросил тебя сейчас: выходи за меня”. А она улыбнулась, вытерла слезы и ответила: “Если бы ты не был моим мужем, я думаю, что ответила бы тебе: да!”

После десяти, а то и двадцати гудков Фима понял: Яэль не желает с ним разговаривать или же это Тед навалился всем своим телом на телефонный аппарат, не позволяя ей снять трубку.

Да и усталость уже давала о себе знать, вдруг наполнив его до краев. А всему виной долгая ночная прогулка по улочкам Вальядолида – это она убила все его утро. В час ему нужно быть на работе, за стойкой регистратуры в частной клинике, что расположена в квартале Кирыят Йовель. А на часах уже двадцать минут десятого. Фима смял листок с тезисами статьи – а заодно и счет за электричество, и заготовленный список покупок, и банковскую распечатку – и отправил бумажный комок в мусорную корзину: очистил письменный стол от всего лишнего, чтобы можно было приступить к работе. Потом решил вскипятить воду для кофе, но по дороге на кухню остановился, припомнив вдруг призрачное сияние иерусалимского вечера. Это было около тридцати лет назад, на улице Агрипас, напротив кинотеатра “Эден”, спустя несколько недель после их возвращения из путешествия по Греции. Яэль тогда сказала: “Да, Эфи, я, несомненно, тебя люблю и буду любить тебя, я люблю, как ты разговариваешь, но тебе кажется, что если ты замолчишь хоть на минуту, то просто перестанешь существовать...” И он замолчал, словно ребенок, которого отчитала мать.

Спустя четверть часа, убедившись, что вода в чайнике не закипела, что чайник даже не нагрелся, несмотря на усилие, с которым он вжимал вилку в электрическую розетку, Фима наконец понял, что без электричества не будет и кофе. И тогда Фима вернулся в постель, улегся прямо в одежде, накрылся толстым зимним одеялом, поставил будильник на без четверти двенадцать, похоронил книгу со снами под грудой газет и журналов, натянул одеяло до подбородка и сконцентрировал мысли на женщинах, мужское естество его налилось, и он обхватил пенис всеми десятью пальцами. “Как вор, взбирающийся по водосточной трубе, – с насмешкой подумал он, – или как утопающий, хватающийся за соломинку.

Но усталость оказалась сильнее вожделения, пальцы ослабли, и Фима задремал.

А за окном набирал силу дождь.

3. Змеиное гнездо

В двенадцатичасовых новостях передали, что нынче утром пластиковой пулей был ранен арабский юноша, от полученной раны он скончался. Пуля была, по-видимому, выпущена из автоматической винтовки солдата, в которого швыряли камни подростки из лагеря беженцев Джебалия, сектор Газа. Еще передали, что труп юноши был похищен из больницы в городе Газа людьми в масках, ведется расследование. Фима размышлял над формулировкой сообщения. Особенно не нравилось ему “пластиковой пулей был ранен, от полученной раны он скончался”. А от “по-видимому” он так и вскипел. Затем ярость сменилась раздражением, но уже более общего лингвистического порядка – по поводу использования пассивной формы глаголов, что становится общепринятым в официальных сообщениях, да и вообще в языке.

Впрочем, вполне возможно, что чувство стыда – здоровое, благословенное чувство стыда – не дает нам объявить просто: еврейский солдат выстрелил и убил арабского парня. С другой стороны, именно этот замусоренный язык безостановочно вдалбливает нам, что виновата винтовка, что виноваты обстоятельства, что пластиковая пуля виновата, будто вся нечисть – по вине Небес, будто все предопределено свыше.

“Но что, если так и есть?” – подумал Фима.

Ведь и вправду есть какое-то таинственное очарование в словах “По вине Небес...”.

Но он тут же рассердился на себя: никакого “очарования”, никакой “таинственности”!

Фима приставил вилку ко лбу, переместил к виску, затем к затылку, пытаясь угадать, почувствовать, что должно происходить, когда пуля разрывает твою черепную коробку. Не боль, не грохот, возможно лишь мягкое мерцание, рассекающее неверие, нереальность происходящего – так ребенок приготовился получить отцовскую затрещину, но отец вместо затрещины вдруг вонзает раскаленный шомпол прямо в центр его глазницы. Существует ли хотя бы микроскопический отрезок времени, мельчайший временной атом, в течение которого и наступает прозрение? Нисходит свет всех Семи Небес. И все то, что всю твою жизнь было смутным, туманным, закупоренным, непонятным, проясняется на краткий миг, перед тем как упадет тьма. Всю жизнь ты ищешь разгадку запутанной головоломки, но в самый последний миг перед тобой сверкнет простое решение.

Тут Фима яростно, хрипло проговорил: “Довольно, хватит трахать мозги!” Слова “смутный” и “непонятный” всколыхнули в нем отвращение. И он встал, запер дверь квартиры, педантично проследил, как кладет ключ к себе в карман. Внизу он увидел, что в прорези почтового ящика белеет конверт. Но в правом кармане покоился лишь ключ от квартиры. Ключ от почтового ящика остался, похоже, на письменном столе. Если не в кармане другой пары брюк. Если не на стойке в кухне. Фима поколебался, но отступился: быть может, конверт – не более чем счет за воду или за телефон, а то и вовсе рекламная листовка. Затем он пообедал яичницей с колбасой, овощным салатом и компотом – все это подали ему в маленьком ресторанчике напротив его дома; сидя за столиком, он перепугался, увидев через окно, что в его квартире горит свет. Он обдумывал этот факт какое-то время, взвешивая возможность того, что тело его находится и здесь и там одновременно, но предпочел счесть, что просто неисправности с электричеством преодолены и подача электроэнергии возобновилась. Взглянув на часы, он понял, что если решит сейчас подняться в квартиру, погасить свет, отыскать ключ от почтового ящика, достать письмо, то обязательно опоздает на работу. Поэтому он расплатился и сказал:

– Спасибо, госпожа Шенберг.

И она, как всегда, поправила его:

– Шейнман, доктор Нисан.

– О, конечно. Разумеется. Прошу прощения. И сколько же я вам должен? Ничего? Я уже расплатился? Если так, то, по-видимому, моя ошибка вовсе не случайна. Я хотел расплатиться

дважды, потому что шницель – это ведь шницель? – был особенно вкусен. Простите, большое спасибо и до свиданья. Я должен бежать. Посмотрите, какой дождь зарядил. Вы выглядите немного... грустной? Наверное, все зима виновата. Ну ничего. Все прояснится. Всего вам наилучшего. До свиданья, до завтра.

Спустя двадцать минут, когда автобус остановился на площади перед Дворцом Наций, Фима подумал, что сущее безумие – выйти сегодня из дома без зонтика. А еще пообещать хозяйке ресторанчика, что все прояснится. На каком таком основании?

Тонкое, отполированное до блеска копьё света пробило вдруг облака и зажгло окно на самой верхотуре отеля “Хилтон”, и этот отраженный свет ослепил Фиму. Между яркими вспышками он тем не менее заметил, что на перилах балкона десятого, а то и двадцатого этажа башни “Хилтона” развевается полотенце, и вообразил, будто ноздри его уловили аромат духов женщины, которая вытиралась этим полотенцем. И Фима сказал себе: “Гляди, как воистину ничто в мире не пропадает зря, не теряется совершенно, и нет ни единого мгновенья, когда бы не являлось нам маленькое чудо. Быть может, все это к лучшему”.

Двухкомнатную квартиру в дальнем конце квартала Кирьят Йовель купил ему отец, когда Фима во второй раз женился в 1961 году, спустя год – или чуть меньше – по окончании с отличием Еврейского университета в Иерусалиме. Он получил первую академическую степень по истории, и отец возлагал на него большие надежды. Да и остальные верили в славное будущее Фимы. Он удостоился стипендии и уже начал было учиться, чтобы получить вторую степень, задумался даже о докторской диссертации и об академической карьере, но летом 1960-го в жизни Фимы случился целый ряд неполадок. И по сей день друзья, добродушно посмеиваясь, вспоминают “год козла Фимы”, когда он в середине июля, на следующий день после окончания выпускных экзаменов, находясь в саду монастыря Ратисбон, влюбился во француженку-гида, что привела туда группу туристов-католиков. Фима сидел на скамейке, ждал по-другу, студентку колледжа, готовящего медицинских сестер, девушку по имени Шула, которая через два года вышла замуж за его друга Цви Кропоткина. Цветущая веточка олеандра зажата между пальцами, над головой гомонят птицы. Сидевшая на соседней скамейке Николь обратилась к нему: “Не знаете, здесь есть вода? Вы говорите по-французски?” На оба вопроса Фима ответил утвердительно, хотя у него не было ни малейшего понятия, есть ли в саду вода, да и французский знал он плоховато. С той минуты он неотступно следовал за ней по Иерусалиму, куда бы она ни направлялась, не оставлял ее в покое ни на миг, хотя она и попросила вежливо его об этом, не отступил он и когда глава группы паломников предупредил, что обратится в полицию. Когда же Николь укрылась на мессе в аббатстве Дормицион, он полтора часа торчал у порога, словно уличная собачонка. Всякий раз, выходя из гостиницы “Цари”, что на площади Франции в центре Иерусалима, напротив здания “Терра Санта”, Николь непременно сталкивалась с Фимой, поджидавшим за вертящейся дверью. Глаза его сверкали, и весь он был возбужденный, взвинченный, необузданный, взлохмаченный. Когда Николь бродила по Музею Израиля, он подстерегал ее в каждом павильоне. Он помчался за нею и в Париж, когда она покинула Израиль, а затем – и в Лион, где она жила. Однажды лунной ночью во двор вышел отец Николь с охотничьей двустволкой и выстрелил из обоих стволов, но Фима получил лишь легкое ранение – в ляжку. Три дня он провел в госпитале при ордене францисканцев, даже начал выяснять, как можно перейти в христианство. Отец Николь пришел к нему в больницу, попросил прощения и вызвался помочь ему во всем, что связано с переменной веры, но к тому времени Николь осточертел и собственный отец, а потому она бежала и от него, и от Фимы – к своей сестре в Мадрид, а затем к золовке в Малагу. Фима, грязный, отчаявшийся, пылающий страстью, заросший щетиной, помчался следом за нею, меняя поезда, пыльные автобусы, пока в Гибралтаре не остался без единого гроша. Оттуда стараниями Красного Креста его почти силой транспортировали в Израиль, пристроив на грузовое судно, следующее из Панамы. В израильском порту Хайфа Фиму арестовали, и шесть недель он провел в военной тюрьме, поскольку подрисовал

дату на своем военном свидетельстве, позволявшем ему, солдату-резервисту, пребывать определенное время за пределами Израиля. Рассказывают, что, когда началась эта любовная история, Фима весил семьдесят два килограмма, а в сентябре, в тюремной больнице, вес его не превышал и шестидесяти. Из тюрьмы его выпустили после того, как отец похлопотал перед одним высоким чиновником, но тут же случилось и кое-что похуже – в Фиму влюбилась жена этого чиновника, дама скандальная и шумная, известная всему Иерусалиму, владелица солидной коллекции гравюр, она была лет на десять моложе своего мужа и старше Фимы лет на восемь. Осенью она забеременела и перебралась с Фимой в комнату, которую они сняли в иерусалимском квартале Мусрара. Парочка стала темой для пересудов всего города. В декабре Фима вновь поднялся на борт грузового судна, на сей раз это был югославский корабль, доставивший его на Мальту, там он три месяца работал на ферме, выращивающей тропических рыбок, и там же сочинил цикл стихов “Смерть Августина и воскрешение его в объятьях Дульсины”. В январе, в городе Валлетта, что является столицей Мальты, влюбилась в Фиму хозяйка дешевой гостиницы, где он проживал, и перенесла все его вещи к себе в квартиру. Из страха, что и эта дама забеременеет, Фима решил сочетаться с ней гражданским браком. Брак продлился чуть менее двух месяцев. Отец с помощью своих друзей в Риме сумел отыскать блудного сына, он сообщил, что иерусалимская возлюбленная Фимы потеряла ребенка, погрузилась в депрессию, но сейчас она в порядке, вернулась к мужу и к своей коллекции гравюр. Фима решил, что нет ему прощенья, и твердо вознамерился расстаться с хозяйкой гостиницы и вообще отныне и навсегда держаться подальше от женщин. Он укрепился в мысли, что любовь ведет к несчастьям, а романы без любви влекут унижение и зло. И Фима покинул Мальту, с пустым карманом, сев на турецкое рыболовецкое судно. Он намеревался провести в уединении год, замкнув себя в стенах некоего монастыря на острове Самос. Но по дороге охватила его паника: а вдруг и его бывшая жена там, на Мальте, тоже беременна? Он колебался – не следует ли вернуться к ней, однако чувствовал, что поступил разумно, оставив ей все свои деньги, но не оставив адреса, и, стало быть, нет у нее никакой возможности отыскать его. Он сошел в порту Салоники и одну ночь провел в дешевом молодежном хостеле, и там, испытывая сладость и боль, видел он сон про свою первую любовь, Николь, чьи следы затерялись в Гибралтаре. Во сне ее имя изменилось и стала она Терезой, и Фима видел своего отца, запершего Терезу с младенцем в подвале известного всем в Иерусалиме здания ИМКА, угрожающего им заряженным охотничьим ружьем, а под конец сна он сам обратился в ребенка, которого удерживают в заточении. На следующее утро Фима встал и отправился на поиски синагоги, хотя прежде пренебрегал религиозными заповедями, да и вообще полагал, что Господь тоже нерелигиозен. Но Фима не знал, куда еще ему пойти. У синагоги встретил он трех девушек из Израиля, которые с рюкзаками путешествовали по Греции; они направлялись на север, в горные районы. Фима прикинул к путешественницам, и по пути – так рассказывают в Иерусалиме – изошла душа его по одной из них, звали ее Илия Абрабанель, из Хайфы, и она виделась ему почти что Марией Магдалиной с картины художника, чье имя он никак не мог вспомнить, как и не мог вспомнить, где он видел эту картину. И поскольку Илия не отвечала на его ухаживания, он пару раз переспал с ее подружкой Лиат Сыркин, пригласившей его разделить с ней спальный мешок, когда привелось им провести ночь то ли в горной долине, то ли в какой-то античной роще. Лиат Сыркин обучила Фиму двум-трем изысканным, острым наслаждениям, и он воображал, что поверх экстаза плотского испытывает экстаз духовный: изо дня в день преисполнялся он тайной радостью от вида прекрасных гор, от ощущения свежести и расцвета и ждал, что следом пробьется в нем мощь истинного знания, какой не ведал он никогда, ни до сего дня, ни впоследствии. В те дни, на севере Греции, он способен был, наблюдая восход солнца над оливковой рошей, видеть само Сотворение Мира. Или, минуя в жаркий полдень стадо овец, осознавать со всей определенностью, что не в первый раз живет он на земле. Либо сидеть в сельской харчевне за вином да козьим сыром с овощами, под сенью сплетенных виноградных лоз,

и слышать, буквально собственными ушами, рев метели на полюсе. А еще он играл девушкам на дудочке, которую вырезал из тростника, не стыдясь скакал и плясал перед ними, пока не заливались они звонким детским смехом. В те дни не видел он никакого противоречия между тем, что душа его тянулась к Илие, а спит он с Лиат. Третью девушку, которая обычно хранила молчание, он едва ли замечал. Хотя именно она перевязала ему ступню, когда он, босой, напоролся на осколок стекла. Три эти девушки, а также и другие женщины, что были в его жизни, особенно – мать, которая умерла, когда ему было десять, почти слились в его сознании, обратившись в одну женщину. Не потому что он видел в женщине лишь женщину, но потому что внутренним своим праздничным озарением видел он, что различия между людьми – женщина то, мужчина или ребенок – не столь уж и существенны, разве чисто внешне, на уровне оболочек, сменяющих друг друга. Так вода превращается в снег, туман, горячий пар или глыбу льда либо в обрывки облаков или град. И хотя колокола монастырей и различных сельских церквей разнятся и мощностью звука, и богатством тонов, но цель у них одна. Этими мыслями он поделился с девушками, две из которых внимали с восторгом, а третья обозвала простаком и залатала рубашку, но и в этом увидел Фима только различные выражения идеи. Третья девушка, державшаяся особняком, Яэль Левин из галилейского поселения Явни-эль, вовсе не отказывалась принять участие в совместных купаниях жаркой лунной ночью, когда они, обнаженные, погружались в воды источника или речушки, встретившихся на пути. Как-то раз, притаившись, видели они издали пастуха лет пятнадцати, утолявшего свое вожделение с козой. А однажды встретили двух глубоко религиозных старух в черных вдовьих одеждах с большими деревянными крестами на груди: неподвижно, в полном молчании сидели они посреди поля на камне, опалаемые полднем зноем. В одну из ночей слышали они странный голос, доносившийся из заброшенной хижины, а наутро прошел мимо них сухонький, сморщенный старичок, игравший на поломанном аккордеоне, не издававшим ни единого звука. На следующий день пролился дождь, сильный, но короткий, похожий на тот последний дождь, какими заканчивается сезон дождей в Израиле, и воздух сделался таким ясным и прозрачным, что издали можно было разглядеть, как пляшут тени, отбрасываемые высокими дубами, на красных черепичных крышах маленьких сельских домов, укрывшихся в долинах и на склонах гор среди кипарисов и пиний, и различить чуть ли не каждую иголку на дереве. На одной из вершин все еще поблескивала снежная шапка, и на фоне пронзительной голубизны небес снег, казалось утратив свою белизну, обрел глубокий цвет чистого серебра. И стаи птиц носились над ними, словно кружились в танце с шарфами. Фима, без всякой связи и без видимой причины, вдруг произнес фразу, рассмешившую трех девушек.

– Здесь, – сказал он, – зарыта собака.

Илия заметила:

– Мне кажется, будто я вижу сон, – сон куда более четкий, чем если бы я спала, и будто бодрствую я более остро, чем проснувшись. Не могу этого объяснить.

Лиат сказала:

– Это свет. Просто – свет.

А Яэль спросила:

– Пить кто-нибудь хочет? Давайте спустимся к ручью.

Спустя месяц после возвращения из Греции Фима отправился в галилейское селение Явниэль на поиски третьей девушки. Выяснилось, что Яэль – выпускница факультета авионики Политехнического института, хайфского Техниона, и сейчас она работает на секретном предприятии израильских ВВС, расположенном в горах западнее Иерусалима. После четырех или пяти встреч с Яэль выяснилось, что общество ее вселяет в Фиму покой и умиротворение, а его общество забавляет ее – в рамках, конечно, свойственной ей сдержанности. Когда он, после изрядных колебаний, спросил, не считает ли она, что они подходят друг другу, Яэль ответила:

– Ты красиво говоришь.

И Фима тотчас вообразил, что слова эти означают некоторую ее приязнь. И записал их в свой актив. Спустя какое-то время он разыскал Лиат Сыркин и посидел с ней полчаса в небольшом кафе на берегу моря – только чтобы убедиться, что она не беременна от него. Но после кафе он вновь поддался соблазну, переспал с ней в номере дешевой гостиницы в городе Бат-Ям, что в двух шагах от Тель-Авива, и вновь не был уверен... В мае он пригласил всех трех девушек в Иерусалим, чтобы познакомить со своим отцом. Старик очаровал Илию своими старомодными манерами кавалера, развеселил Лиат анекдотами и баснями с моралью, но всем девушкам он предпочел Яэль, потому что увидел в ней “глубину”. Фима с ним согласился, хотя и не совсем был уверен, что понимает, о какой “глубине” идет речь. Но он продолжил встречаться с Яэль, пока однажды она не сказала:

– Погляди-ка на свою рубашку. Половина заправлена в брюки, половина наружу. Давай заправлю.

А в августе 1961 года Яэль и Эфраим Нисан уже были женаты и жили в маленькой квартире, которую купил ему отец, – в дальнем конце иерусалимского квартала Кирьят Йовель. Квартиру отец купил после того, как Фима сдался и подписал, в присутствии нотариуса, документ, в котором Фима раз и навсегда отказался от действий и поступков, какие отец определил как “приключение”. Кроме того, Фима обязался возобновить занятия в университете и получить вторую академическую степень. Отец, со своей стороны, обязался оплачивать обучение сына и занятия Яэль по профессиональному усовершенствованию и даже выделил им скромную месячную субсидию на первые пять лет их семейной жизни. С тех пор имя Фимы никогда не всплывало в сплетнях и пересудах иерусалимцев. Закончились приключения. Завершился “год козла” и начались “годы черепахи”. Но в науку он так и не вернулся, не считая, быть может, двух-трех идей, подаренных другу Цви Кропоткину, который неустанно, без перерыва между магистерской и докторской диссертациями, продолжил закладывать ряд за рядом фундамент башни своих исторических исследований. В 1962-м, после уговоров друзей и стараний Цви Кропоткина, Фима издал сборник стихов, написанных им в период короткого брака на Мальте, – “Смерть Августина и воскресение его в объятьях Дульсинеи”. Последующие два года и критики, и читатели видели в поэте Эфраиме Нисане подлинную надежду израильской поэзии. Да только надежда эта угасала с ходом времени, ибо Фима молчал. Просто перестал писать стихи, и все. Каждое утро за Яэль приезжала армейская машина и увозила ее на военную базу, Фима и понятия не имел, где эта база находится. Там Яэль занималась какими-то техническими разработками, сути которых он не понимал, да и, по правде сказать, не очень интересовался. Целое утро слонялся он по квартире, слушал выпуски новостей, стоя съедал все, что находил в холодильнике, спорил с самим собой, с дикторами радио, раздраженно застилал постель, которую Яэль не успела прибрать утром, да, собственно, и не могла этого сделать, потому что он спал, когда она уходила. Покончив с утренней газетой, Фима шел в бакалейную лавку, возвращался с двумя ежедневными газетами, погружался в них до самого вечера, разбрасывая газетные листы по всей квартире. Между газетами и сводками новостей он силком усаживал себя за письменный стол и какое-то время занимался христианской книгой “*Regio Fidei*”² отца Раймона Мартини, опубликованной в Париже в 1651 году и призванной раз и навсегда опровергнуть веру “мавров и евреев”. Он хотел по-новому исследовать корни религиозного антисемитизма христиан. Но работа его прервалась, ибо в нем вдруг пробудился туманный интерес к идее “скрытого Бога”. И Фима увлекся перипетиями жизненного пути монаха Эусебиуса Софрониуса Иеронимуса, который изучал иврит у еврейских учителей, поселился в Вифлееме в 386 году, перевел на латынь и Ветхий, и Новый Завет и, возможно, вполне намеренно углубил разрыв между евреями и христианами. Но только эти занятия не утолили жажду Фимы, усталость одолела его, и постепенно он увязал во все более глубоком безделье. Часами,

² “Кинжал Веры” (лат.).

бывало, рылся в энциклопедии, забыв, что же он, собственно, ищет, читал статьи в алфавитном порядке. Почти каждый вечер нахлобучивал истрепанную кепку и отправлялся к кому-нибудь из друзей, спорил с ними до часу ночи о знаменитом “деле Лавона”³, о процессе нацистского преступника Эйхмана, пойманного израильской разведкой в Аргентине и переправленного в Израиль, о ракетном кризисе на Кубе, о немецких ученых, разрабатывающих оружие для Египта, о значении визита Папы в Святую землю. Когда Яэль возвращалась с работы и спрашивала его, поел ли он уже, то Фима, бывало, сварливо отвечал: “В чем дело? Где написано, что я должен кушать?” И пока Яэль принимала ванну, он из-за закрытой двери разглагольствовал, кто же на самом деле стоит за убийством президента Кеннеди. Вечером, когда Яэль спрашивала, не планирует ли он и нынче отправиться к Ури или Цвике, дабы сцепиться с ними в жарком споре, он отвечал: “Нет, я отправляюсь на оргию”. А самого себя спрашивал: как это он позволил отцу прилепить себя к этой женщине? Но случалось, он вновь влюблялся в ее сильные пальцы, массирующие маленькие щиколотки, либо в ее привычку задумчиво тереть глаза с длинными ресницами. И тогда он принимался обхаживать ее, словно стеснительный, восторженный юноша, пока она не позволяла ему прикоснуться к ее телу, и он погружал ее в негу и удовольствие, воодушевленный и точный, внимательный и предупредительный. Бывало, в разгар мелочной ссоры Фима говорил: “Погоди, Яэль, это пройдет, еще немного – и начнется правильная наша жизнь...” Порою субботней ночью они отправлялись побродить по пустынным переулкам на севере города, и он с каким-то сдержанным восторгом рассказывал ей о совокуплениях тела и света у древних мистиков, вызывая в ней этим радость и нежность. И она, бывало, прильнет к нему, прощая ему, что он располнел, что снова забыл надеть чистую рубашку в честь Субботы, его привычку без конца поправлять ее иврит. И возвращались они домой, и занимались любовью, словно преодолевая отчаяние.

В 1965-м Яэль по контракту уехала работать в исследовательский институт авиакомпании “Боинг” на американский Северо-Запад, в Сиэтл. Фима не захотел присоединиться к ней, утверждая, что жизнь в разлуке, возможно, пойдет на пользу обоим, и остался один в двухкомнатной квартире в квартале Кирыят Йовель. Была у него скромная должность в регистратуре частной гинекологической клиники. От академической жизни он совсем отдалился, разве что Цви Кропоткин иной раз затащит его на однодневную конференцию о роли личности в истории или о преимуществах и недостатках историографа, свидетеля описываемых событий. В субботние вечера Фима появлялся у Нины и Ури Гефен или в домах других своих друзей, легко ввязывался в политические дискуссии, в которых порой способен был поразить всех какой-нибудь язвительной формулировкой и парадоксальным прогнозом, но он не умел довольствоваться победой и настойчиво продолжал спор, словно азартный игрок, которого не оторвать от рулетки. Фима спорил на темы, в которых абсолютно не разбирался, погружался в несущественные детали, так что даже преданные поклонники начали сторониться его. Случалось, он вызывался присмотреть за детьми, отпустив родителей в кино или в гости. Либо с радостью бросался на помощь кому-нибудь из друзей, правил, корректировал, редактировал, готовил резюме для научной статьи. Иногда он брал на себя челночную дипломатию, роль посредника в ссорах семейных пар. Время от времени он печатал в популярной среди интеллигенции газете “Ха-Арец” короткие, острые статьи по актуальным вопросам политики. Иногда в одиночку уезжал на несколько дней в частный пансион в старом поселении на севере долины Шарон, что в центральной части средиземноморского побережья Израиля. Каждое лето он пытался с новой энергией, с воодушевлением научиться водить автомобиль, но каждую осень проваливался на

³ Дело Лавона – политической скандал, случившийся во второй половине 1950-х в Израиле из-за провала диверсионных операций военной разведки в Египте. Планировалось устроить несколько атак на американские и британские учреждения, чтобы сорвать планы англичан вывести войска из зоны Суэцкого канала. Операция провалилась, а вскоре выяснилось, что премьер-министр страны ничего о ней не знал; началось расследование, одним из фигурантов которого был министр обороны Пинхас Лавон.

экзамене. Время от времени женщина, с которой знакомился он у друзей или в клинике, навещала его запущенную квартиру и его постель, простыни которой давно уже следовало поменять. Очень быстро она обнаруживала, что Фима куда больше заботится о том, чтобы доставить удовольствие ей, нежели себе. Некоторые женщины полагали это трогательным, однако другие приходили в замешательство и торопились оборвать всякие отношения. Он мог час, два часа ласкать женщину, доставляя ей тончайшее наслаждение, в ласках его хватало и выдумки, и фантазии, и даже телесного юмора, и только в конце, как бы невзначай, мимоходом, срывал он и свою долю удовольствия и тут же снова сосредоточивался на возлюбленной, от которой могло и ускользнуть, что причитающиеся ему по праву скромные комиссионные он уже получил. Женщины, желавшие отношений более постоянных, которым удавалось вытянуть у него ключ от квартиры в Кирьят Йовеле, добивались только того, что спустя две-три недели он сбегал в недорогой старомодный пансион в Пардес-Хане или в Магдиэле и не возвращался, пока от него не отступятся. Но и эти эпизоды, случавшиеся в его жизни лет пять-шесть назад, постепенно сошли на нет.

Когда Яэль написала ему из Сиэтла в начале 1966 года, что в жизни ее появился другой мужчина, Фима ухмыльнулся, прочитав затасканное “другой мужчина в моей жизни”. Любовные его приключения в “год козла”, женитьба на Яэль и сама Яэль – все это виделось сейчас Фиме избитым, банальным, преувеличенным и даже ребяческим, как революционная подпольная ячейка, которую он пытался основать в средней школе. Фима решил ответить Яэль двумя-тремя строчками, пожелать всего хорошего и ей, и “другому мужчине в ее жизни”. Но когда он под вечер сел за письменный стол, то не отрываясь строчил до полудня следующего дня, породив лихорадочное послание на тридцати четырех страницах – любовную свою исповедь. Перечитав, он изорвал листы в клочки, бросил в унитаз и спустил воду, потому что кому же под силу описать любовь, а уж если получилось излить ее в слова, то это верный признак того, что любовь эта прошла. Или уходит. В конце концов он вырвал страничку из тетрадки в клетку и нацарапал следующее: “Не в силах перестать любить тебя, ибо это от меня не зависит, но ты, разумеется, свободна. Как же я был слеп. А покамест я посылаю тебе по почте твои три ночные рубашки, комнатные туфли на меху и фотографии. Но если не возражаешь, ту фотографию, где мы с тобой вместе в поселении Вифлеем Галилейский, я оставлю себе”. Из письма Яэль поняла, что Фима согласен на развод и не будет чинить препятствий. Но когда вернулась она в Иерусалим и представила ему человека серого, невыразительного, с широкими сверх меры челюстями и лбом, на котором произрастала пара кустистых бровей, этакие усы-щеточки, и сказала: “Познакомьтесь, это Эфраим, а это – Тед Тобиас, надеюсь, мы будем друзьями”, Фима передумал и наотрез отказался разводиться. Тед и Яэль возвратились в Сиэтл. Связь оборвалась, не считая нескольких телеграмм и пары открыток, связанных с бытовыми вопросами.

Спустя много лет, в начале 1982-го, Тед и Яэль появились у Фимы как-то вечером вместе со своим трехлетним сыном, мальчиком-альбиносом, слегка косящим, такой себе маленький мыслитель в очках с толстыми линзами, в костюме американского астронавта со сверкающим металлическим ярлыком, на котором было выбито слово “Челленджер”. Этот малыш, оказалось, умеет формулировать сложные предложения и ловко обходит деликатные вопросы. Фима моментально влюбился в Дими Тобиаса-младшего и сразу снял свои возражения, предложив Яэль и Теду развод, помощь и дружбу. Впрочем, Яэль не видела никакой особой надобности в религиозном разводе с выдачей разводного письма – “тет”, да и в дружбе не видела никакого смысла: за истекшие годы она успела дважды расстаться с Тедом, пройти еще через несколько связей, вернуться к Теду и родить Дими – “почти в самую последнюю минуту”, как она считала. Фима покорило сердце задумчивого Челленджера рассказом о кровожадном волке, решившем избавиться от привычки поедать других зверей, а заодно и от своей жестокости и кровожадности и присоединиться к колонии кроликов. Когда рассказ закончился, Дими предложил другую концовку, в которой Фима нашел и логику, и утонченность, и юмор.

При непосредственном участии отца Фимы развод и все с ним связанное были совершены без лишнего шума. Тед и Яэль поселились в тихом иерусалимском квартале Бейт ха-Керем, оба нашли работу в одном из исследовательских институтов и каждый год делили на три части: лето – в Сиэтле, осень – в Пасадене, зима и весна – в Иерусалиме. Иногда по субботам они звали Фиму в гости, когда у них собирались семейства и Кропоткиных, и Гефенов, и прочие старые друзья, или оставляли Дими у Фимы в Кирыят Йовеле, уезжая на два-три дня в Эйлат или Верхнюю Галилею. Вечерами они частенько прибегали к добровольным услугам Фимы, и тот присматривал за Дими, с которым всерьез подружился. По странной логике мальчик называл Фиму дедушкой. И отца Фимы он тоже называл дедом. Фима научился с помощью спичек и клея сооружать дома, дворцы и даже замки с бойницами. Это шло вразрез с тем образом Фимы, который сложился у друзей, у Яэль, даже у самого Фимы: этакий неуклюжий растяпа-неудачник, у которого обе руки левые, не способный починить протекающий кран или пришить пуговицу.

Кроме Дими и его родителей была еще компания: люди приятные, уравновешенные, из тех, кто знал Фиму со времен университетских, кое-кто был косвенно связан с приключениями его в “год козла”. Некоторые из них до сих пор надеялись, что в один прекрасный день парень поднимется, отряхнется и, так или иначе, потрясет Иерусалим. “Верно, – говорили они, – он порой действует на нервы, нет у него чувства меры, но в том-то и штука – когда он в ударе, то по-настоящему в ударе. Придет день, и мы еще услышим о нем. Не стоит им пренебрегать. Напротив. К примеру, в прошлую пятницу, до того как начал он дурачиться, пародируя политиков. Как он выхватил прямо из уст Цви Кропоткина слово «ритуал» и буквально приковал нас всех к своим местам, как детей малых, когда вдруг заметил: «Но ведь все на свете – РИТУАЛ». И прямо с ходу начал развивать свою теорию, и целую неделю мы только об этом и говорили. А потрясающее его сравнение Кафки, Гоголя и хасидских притч.

С годами кое-кто из них научился относиться с симпатией к смеси острословия и рассеянности, грусти и воодушевления, утонченности и беспомощности, ума и лени. Всего этого имелось в Фиме в избытке. Да и кроме того, в любой момент его можно было засадить за вычитку статьи либо посоветоваться по поводу набросков намечаемого исследования. За спиной его говорили с теплотой: “Ну что за парень, как бы это выразиться, оригинальный, милый, но – вот загвоздка! – лентяй. Нет у него никаких амбиций. Не думает о завтрашнем дне. Хотя ведь уже не мальчик”.

И все-таки, несмотря на это, что-то в его внешности толстячка, погруженного в раздумья, в его топающей походке, в высоком прекрасном лбе, в его устало поникших плечах, в светлых редющих волосах, в добрых растерянных глазах, словно они вглядываются внутрь или, напротив, устремлены куда-то поверх гор, – что-то в его облике побуждало людей преисполняться приятной и радостью, расплываться в улыбке при виде Фимы, бредущего по противоположной стороне улицы с таким видом, словно он и не знает, что привело его в центр города и как отсюда выбраться. И тогда говорили люди: “Вон идет Фима, размахивает руками – наверно, спорит сам с собой и, уж точно, побеждает в споре”.

Со временем возникла и напряженная, полная ярости и противоречий дружба между Фимой и его отцом, Барухом Номбергом, известным производителем парфюмерии и косметики, ветераном правого движения Херут. Даже теперь, когда Фиме исполнилось пятьдесят четыре, а Баруху – восемьдесят два, отец по старой привычке в конце каждой встречи тайком запикивал в карман сына две-три банкноты по двадцать шекелей или одну пятидесятишекелевую купюру. У Фимы тоже имелась тайна: каждый месяц он клал восемьдесят шекелей на счет сына Тед и Яэль, он открыл для Дими сберегательный счет, о котором никто не знал. И вот уже парню целых десять лет, хотя выглядел он лишь на семь: мечтательный и доверчивый малыш. Бывало, что случайные попутчики в автобусе находили сходство между мальчиком и Фимой – и форма подбородка та же, и лоб, и походка. Минувшей весной Дими упрямил разре-

шить ему завести двух черепах и выводок шелковичных червей, для живности приспособили маленькую балконную кладовку при запущенной кухне в квартале Кирьят Йовель.

И хотя в глазах окружающих, да и в своих собственных Фима слыл лентяем, рассеянным и беспамятным, но тем летом не было ни единого дня, когда бы он забыл почистить и устелить травой тот угол, который он отныне называл “наше змеиное гнездо”. Но настала зима, и шелковичные черви умерли. А черепах выпустили на волю в вади⁴, там, где обрывается Иерусалим и начинаются скалы и пустыня.

⁴ Арабское название высохшего речного русла.

4. Надежды на новую страницу

Вход в частную клинику в квартале Кирьят Йовель был со двора. Тропинка, вымощенная иерусалимским камнем, огибала садик. Зимой дорожка была усеяна сосновыми иглами, мокрыми и скользкими от дождя. Фиму занимал один вопрос: слышит ли замерзшая маленькая птичка, что сидит на низкой ветке, раскаты грома, прокатившиеся с запада на восток, ведь голову птичка засунула под крыло. Он с сомнением оглянулся, чтобы убедиться, действительно ли он видел птицу или это была просто мокрая сосновая шишка. И тут он поскользнулся и упал на колени. Так и остался стоять на четвереньках, но не от боли, а от злорадного подсмеивания над собой.

– Вот и молодец, дружище, – пробормотал он тихонько.

Почему-то ему казалось, что он заслужил это падение, что оно – логическое продолжение того маленького чуда, которое случилось с ним у подножия высотной гостиницы “Хилтон” по дороге сюда.

Наконец ему удалось подняться, и он стоял в растерянности, под дождем, как человек, не знающий, откуда он пришел, и не имеющий ни малейшего понятия, куда ему следует идти. Он поднял голову, взглянул на верхние этажи здания, но увидел только опущенные жалюзи и окна, наглухо занавешенные шторами. Там и сям на балконах мокли вазоны с геранью, цветам которой дождь придал особый, чувственный оттенок, напомнивший ему накрашенные губы слегка вульгарной женщины.

У входа в клинику висела табличка – элегантная, неброская, из черного стекла с серебряными буквами: “Доктор Варгафтик. Доктор Эйтан. Женские болезни”. В тысячный раз Фима мысленно предъявил претензию вывеске: почему же нет клиник по мужским болезням?

Да и иврит, по мнению Фимы, следовало бы подправить, ибо, как он это формулировал, “язык не терпит”. Однако самому Фиме его же собственная формулировка казалась никчемной и абсурдной – с какой стороны ни взглянуть. Фима ощутил стыд, вспомнив, как утром, услышав в новостях о смерти арабского юноши из лагеря беженцев Джебалия, рассердился из-за оборота “убит пластиковой пулей”.

Но ведь разве у пули есть руки?

Не начали у него, случаем, размягчаться мозги?

Он вновь собрал своих министров на заседание Кабинета в обшарпанном классе. У двери стоял часовой, прошедший боевую подготовку в подпольной военной организации ПАЛМАХ, распушенной с провозглашением Государства Израиль. Был он в шортах цвета хаки, в арабской головной накидке “кафие” поверх вязаной шапки-чулка. Некоторые из министров уселись прямо на полу, у его ног. Иные прислонились к стене, увешанной учебными диаграммами. Короткими, острыми словами он поставил собравшихся перед необходимостью выбора между территориями, захваченными в ходе Шестидневной войны, и сутью нашей личностной идентификации. Затем – а все еще взволнованы и возбуждены его речью – он провел голосование, победил и сразу же подробно объяснил всем министрам оперативный план воплощения в жизнь принятого решения.

До победы в Шестидневной войне, рассуждал он, положение нации было в меньшей степени опасным и разрушительным, чем сейчас. Или, быть может, менее деморализованным и подавленным? Действительно ли нам легче преодолеть угрозу тотального уничтожения, чем оказаться на скамье подсудимых? Угроза уничтожения вселила в нас гордость и чувство единства, а скамья подсудимых, на которую нас усаживает мировое общественное мнение, подавляет наш боевой дух. Но ошибочно именно так представлять стоящий перед нами выбор. Ведь скамья подсудимых подавляет дух только у интеллигенции, той светской интеллигенции, корни которой – в России и на Западе, а народные массы вовсе не тоскуют по гордости Давида, побе-

дившего Голиафа. А с другой стороны, “народные массы” – пустое, бессмысленное клише. Но покамест брюки твои все в грязи, как и руки по локоть в грязи, а дождь все сыплет и сыплет прямо на темечко. И на часах уже пять минут второго. Как ни стараешься вовремя прийти на работу, всегда опаздываешь.

Клиника, располагавшаяся на первом этаже, занимала две бывшие квартиры, соединенные в одну. Окна, забранные решетками в арабском стиле, глядели в пустой мокрый иерусалимский двор, затененный сумеречными соснами, у подножий которых торчали там и сям серые острые камни. Шорох крон доносился из сада даже при едва уловимом ветерке. Нынче ветер дул изрядный, и перед глазами Фимы возникла заброшенная деревня в Польше или в одной из прибалтийских стран – ветер ревет в лесах, окруживших деревеньку, бушует в заснеженных полях, свистит в соломенных крышах домишек, звонит в колокола окрестных церквей. И ему вторит волчий вой. Фима почти сочинил небольшой рассказ о деревушке, о нацистах, евреях и партизанах и, может, вечером поведает его Дими, а мальчик покажет ему божью коровку в баночке или космический корабль, вырезанный из апельсиновой корки.

Со второго этажа доносились звуки рояля, скрипки, виолончели: там жили три пожилые дамы – музыкантши, дававшие частные уроки, а иногда они выступали в небольших залах на церемониях, где вручались премии литераторам, пишущим на идише, на вечерах, посвященных памяти Жертв Катастрофы, постигшей евреев в годы Второй мировой войны, на открытиях клубов пенсионеров. Долгие годы работал Фима в этой клинике, но и до сих пор нет-нет да защемит у него сердце, когда слышит он их игру. Словно некая внутренняя виолончель отзывается в нем на звуки той виолончели, что поет на втором этаже, отзывается безмолвным звуком страстного желания и томления. И словно воистину с течением лет все укрепляется таинственная, загадочная связь между тем, что делают тут, внизу, с телами женщин, используя щипцы из нержавеющей стали, и печалью мелодий, несущихся сверху.

Доктор Варгафтик смотрел на Фиму – полноватого, неряшливого, улыбающегося смущенной улыбкой ребенка, с коленями и руками, перепачканными грязью, – и, как всегда, вид Фимы вызывал у доктора радость и приязнь, смешанные с сильнейшим желанием как следует отчитать его. Варгафтик был человеком мягким, чуточку трусоватым, из-за повышенной чувствительности глаза его частенько наполнялись слезами, особенно когда кто-нибудь перед ним извинялся. Может, именно поэтому он обычно стремился предстать таким педантом, едва сдерживающим гнев, запугать всех вокруг, раздавая направо и налево выговоры, грозные окрики, порицания, которые тем не менее в устах его звучали предельно вежливо, дабы ненароком не обидеть кого.

– О! Экселенц! Герр майор-генерал фон Нисан! Прямо из окопов! Необходимо наградить вас медалью!

Фима смущенно ответил:

– Я чуть-чуть опоздал. Сожалею. Поскользнулся тут, у входа. Такой дождь на улице...

Варгафтик зарычал:

– А, точно! Снова это фатальное опоздание! Снова полный форс-мажор!

И в сотый раз поведал Фиме анекдот о покойнике, опоздавшем на собственные похороны.

Доктор Варгафтик был человеком широким, крупнотелым, фигурой походил на контрабас, с лицом красным, рыхлым, припухшим, как у беспробудного пьяницы, испещренным болезненной сеткой кровеносных сосудов, расположенных так близко к коже, что можно было чуть ли не сосчитать удары пульса по подрагиванию капилляров на щеках. В любое время и по любому случаю у него был припасен анекдот, неизменно начинавшийся словами: “Есть всем известная шутка...” И всегда раздражался он оглушительным смехом, как только приближался к финалу. Фима, которому до отвращения знакома была причина опоздания покойника на собственные похороны, тем не менее издал легкий смешок, потому что симпатизировал рохле Варгафтику, прикидывающемуся тираном. Доктор обожал громоподобные, с властными

нотками, речи о связи, скажем, твоих привычек питания с твоим мировоззрением, или о вечном противостоянии между человеком искусства и человеком науки, или об экономике “социализмуса” (так он произносил на немецкий лад “социализм”), поощряющей безделье и мошенничество, а посему такая экономика начисто не подходит для нормальной страны. На словах “нормальная страна” доктор Варгафтик таинственно и трепетно понижал голос, так человек верующий говорит о всемогущем Боге.

Фима заметил:

– Пусто у нас сегодня.

Варгафтик сказал, что через несколько минут должна появиться известная художница: небольшая закупорка труб. Слово “трубы” в его гинекологическом аспекте тотчас напомнило доктору известный анекдот, который он немедля и выложил.

А тем временем кошачьей поступью, не издавая ни малейшего звука, из своего кабинета выскользнул доктор Гад Эйтан. За ним появилась сестра Тамар Гринвич, лет сорока пяти, обликом походившая на женщин из когорты пионеров-первопроходцев, что в начале XIX века создавали в Эрец Исраэль сельское хозяйство. Тамар была в голубом форменном платье из хлопка, гладкие волосы собраны на затылке в небольшой пучок, смахивающий на клубок шерсти. В силу странного пигментационного дефекта один глаз у нее был зеленый, а другой карий. Она пересекла зал, где размещалась регистратура, поддерживая бледную пациентку, и ввела ее в боковую комнату, что именовалась “комната восстановления сил”.

Доктор Эйтан, элегантный, пружинистый, оперся о стойку регистратуры и медленно двигал челюстями, пережевывая резинку. Движением подбородка он то ли ответил на приветствие Фимы, то ли на вопрос, который задал ему доктор Варгафтик, а быть может, его ответ предназначался обоим сразу. Голубые водянистые глаза его уставились в какую-то точку поверх репродукции картины Модильяни. Холеным лицом, тоненькими светлыми усиками походил он, как считал Фима, на надменного прусского дипломата, вынужденного против собственной воли служить в посольстве во Внешней Монголии. Эйтан позволил Варгафтику завершить еще один бородатый анекдот, а затем, словно дремлющая пантера, едва двигая губами, сказал тихо:

– По местам. Хватит трепаться.

Варгафтик мигом подчинился и покатился вслед за ним в процедурную. Дверь за ними захлопнулась. Острым запахом антисептических препаратов дохнуло в холл в кратком промежутке между открытием и закрытием двери.

Фима вымыл руки и приготовил кофе для пациентки, приходившей в себя в “комнате восстановления сил”. Затем он налил кофе Тамар и себе, облачился в короткий белый халат, уселся за стойкой регистратуры и начал изучать книгу записей, в которую он заносил пациенток. Про себя Фима называл эту книгу “родословная регистратуры”. Числа в книге он записывал словами, а не цифрами. Поступившие платежи, отсроченные платежи, порядок очереди на лабораторные исследования, результаты, пришедшие из лаборатории, переносы визитов к врачу. Кроме того, ему вменялось вести картотеку: истории болезни, копии рецептов, исследования в лаборатории ультразвука, рентгеновские снимки. Все это да еще ответы на телефонные звонки и составляло круг его обязанностей. Не считая приготовления кофе для врачей и медсестры, этим он занимался каждые два часа. А иногда – и кофе для пациентки после процедуры.

Напротив его стойки стояли небольшой кофейный столик и два кресла, на полу лежал ковер, на стенах висели репродукции Дега и Модильяни; здесь пациентки располагались в ожидании приема. Бывало, Фима добровольно вызывался скрасить это время, завязывая легкую беседу на нейтральную тему – о росте цен или телепередаче, что показывали вечером накануне. Впрочем, большинство пациенток предпочитали ждать в молчании, листая журналы, и тогда Фима погружался в свои бумаги, стараясь сделаться незаметным, чтобы не усугублять неловкость посетительницы. Что происходило там, за закрытыми дверями врачебных кабинетов?

Что побудило женщину издать вздох, который Фима слышал или вообразил, что услышал? Что выражали лица женщин, когда они сюда приходили, и каково было выражение их лиц, когда они уходили? Какова она, история, завершающаяся в этой лечебнице? И ребенок, который не родится, кем бы он был? Какая судьба ему выпала бы? Все, что Фима пытался разгадать, расшифровать или сочинить, воображая и предполагая, вызывало в нем самом борьбу между неприятием, отвращением и чувством, что долг его – проявить сочувствие, хотя бы мысленно. Порою сама суть женственности представлялась ему вопиющей несправедливостью, чуть ли не жестокой болезнью, поразившей половину рода человеческого, обречшей на унижения и терзания, которые обошли стороной другую половину. Но бывало и так, что возникала в нем и неясная ревнивая зависть, чувство какого-то упущения, словно обделен он неким таинственным даром, позволяющим *им* весьма просто присоединиться к тому миру, куда для него дорога закрыта навеки. И чем больше он размышлял об этом, тем меньше удавалось ему разобраться в себе, провести границу между жалостью и завистью. Матка, принятие семени, беременность, роды, материнство, кормление грудью, даже месячный цикл, даже потеря плода и выскабливание – все это пытался он нарисовать в своих мыслях, вновь и вновь прилагая усилия, чтобы прочувствовать в воображении то, что изначально не дано ему испытать, и случалось, что в разгар подобных размышлений указательный палец его ошупывал, чисто машинально, соски на груди, которые казались ему издевательством над слабым полом или, возможно, памятью о грехопадении. И в конце концов накатывалась на него волна глубокого сожаления по поводу всего, по поводу мужчин и женщин, будто осознал он, что разделение полов – это не более чем злая шутка. И пришло время подняться и начать действовать, с приязнью и разумом, дабы положить конец этой шутке. Или по крайней мере сократить, уменьшить страдания, вытекающие из этого разделения. Хотя его об этом не просили, но Фима вставал со своего места за стойкой регистратуры, наполнял стакан водой из холодильника и с робкой улыбкой подавал его женщине, ожидавшей своей очереди, бормоча при этом: “Все будет хорошо”. Или: “Попейте, почувствуете себя лучше”. В большинстве случаев он вызывал только легкое изумление, но иногда ему удавалось увидеть благодарную улыбку, заставлявшую его опускать голову, как бы говоря: “Хоть это немного, что в моих силах...”

Когда выпадало свободное время, между телефонными звонками и ведением записей, Фима, бывало, читал по-английски роман. Или биографию государственного деятеля. Частенько, однако, читал он не книгу, а проглатывал две вечерние газеты, которые покупал по дороге в клинику, и был предельно внимателен, чтобы не пропустить даже маленькой заметки. Комментарии, сплетни, мошенничество в кооперативном магазине в городе Цфат, случай двоеженства в Ашкелоне, безответная любовь в Кфар-Саве – все его занимало. Изучив газету вдоль и поперек, он откладывал ее в сторону, сидел и вспоминал. Или собирал заседание кабинета, переодевал своих министров в одежды революционеров-партизан, выступал перед ними с речью, в которой были и предвидение, и гнев, и утешение, спасал сынов Израиля, хотели они того или нет, воцарял мир во всем мире.

В перерыве между процедурами врач и сестра выходили к нему выпить кофе и поболтать. Фима иногда, начисто терявший способность слушать, с удивлением спрашивал себя: “Что я здесь делаю? Что общего между мною и этими далекими мне по духу людьми?” Но не находил ответа на вопрос: где, если не здесь, он должен находиться? Хотя и чувствовал, со всей остротой, с болью, что есть такое место на свете, где его ждут и удивляются, куда он запропал. И тогда Фима принимался рыться в карманах, находил таблетку от несварения, вновь перелопачивал все газеты – не пропустил ли что-то важное.

Гад Эйтан – бывший зять Альфреда Варгафтика. Он был женат на единственной дочери Альфреда, которая сбежала десять лет назад в Мексику с поэтом, прибывшим в Иерусалим на книжную ярмарку, где она работала. Варгафтик, основатель клиники и старший партнер с преимущественными правами, относился к Гаду Эйтану со странным почитанием, одаряя

бывшего зятя проявлениями покорности и самоуничижения, которые старался скрыть за взрывами вежливого гнева. Доктор Эйтан, специализировавшийся главным образом на проблемах бесплодия, а по необходимости – еще и врач-анестезиолог, был человеком холодноватым и к тому же молчаливым. Имелась у него привычка подолгу и пристально разглядывать свои пальцы. Словно боялся, что потеряет их. И сам факт существования у него пальцев, похоже, не переставал изумлять его. И действительно, пальцы эти были точеные, длиннее обычного, музыкальные – просто исключительные пальцы. Вдобавок доктор Эйтан двигался, как сонное животное или, наоборот, как животное, только что пробудившееся ото сна. Иногда по его лицу растекалась тонкая, холодная улыбка, в которой его голубые водянистые глаза участия не принимали. И видно, именно эта холодность пробуждала в женщинах и веру, и удивление, и какое-то страстное желание вывести его из состояния равнодушия, растопить его ледяное сердце. Эйтан игнорировал любые намеки и попытки заигрывания, а на исповеди пациенток отвечал сухо: “Ладно. Да. Но выбора нет”. Или: “Что поделаешь. Это случилось”.

Нередко в середине анекдота Варгафтика Эйтан быстро разворачивался вокруг собственной оси на сто восемьдесят градусов, наподобие башни танка, и исчезал, двигаясь кошачьими шагами, за дверь своего кабинета. Казалось, что люди, мужчины и женщины, вызывают у него легкое отвращение. Прекрасно зная, что Тамар влюблена в него, ему доставляло удовольствие отпускать иногда едкие, короткие фразы:

– Что за аромат источаешь ты сегодня?

Или:

– Одерни-ка юбку. Не стоит тратить на нас свои коленки. Подобный пейзаж нам показывают по двадцать раз на день.

А однажды попросил:

– Положи, пожалуйста, на стол вагину и шейку матки. Да. Знаменитости. Да. Результаты. А ты что подумала? Да. Именно ее. Твои мне не нужны.

Глаза Тамар – левый зеленый и правый карий – наполнились слезами. И Фима, как рыцарь, ринувшийся спасти принцессу от страшных челюстей дракона, вскочил и вместо Тамар принес требуемую историю болезни и шлепнул на стол перед доктором. А тот одарил его невидящим взглядом и вновь принялся изучать свои пальцы. В свете мощной лампы, используемой для клинических осмотров, его пальцы, похожие на женские, порозовели, словно испускающая сияние, стали почти прозрачными. Доктор посчитал нужным направить и в сторону Фимы убийственный залп:

– Не знаете ли вы, случаем, что такое “менструация”? Тогда объявите госпоже Лихт, да, той, что сегодня была на приеме, да, по телефону, несомненно, что она нужна мне здесь ровно через два дня после следующей ее менструации. И если “менструация” не совсем благозвучно звучит по телефону, то скажите ей, пожалуйста: “Два дня после месячных”. Впрочем, мне безразлично, что вы ей скажете. По мне, можете сказать “через два дня после ее личного праздника”. Главное, назначьте ей время. Спасибо.

Варгафтик, как человек, увидевший пожар, поспешил выплеснуть на огонь содержимое ближайшего к нему ведра, не потрудившись проверить, вода в нем или бензин:

– Личный праздник... Мне это напомнило известный анекдот про Бегина и Арафата...

И он в сотый раз поведал, как проницательность Бегина победила злобность Арафата.

– Я бы повесил обоих, – протянул Гад Эйтан.

Тамар заметила:

– У Гада сегодня был тяжелый день.

А Фима, со своей стороны, добавил:

– Нынче вообще тяжелые времена. Все, что по нашей вине происходит на территориях, захваченных нами в Шестидневную войну, мы непрерывно пытаемся вытеснить из нашего сознания, а в результате воздух потрескивает от гнева и агрессии и все нападают на всех.

Именно в этом месте Варгафтик спросил: какая разница между Монте-Карло и Рамаллой⁵? И выдал очередной анекдот. Смеяться он начал на полпути между Монте-Карло и Рамаллой. Но вдруг вспомнил о своем положении, лицо его залилось краской, он весь надулся, сеть капилляров задрожала во всю ширь щек, он свирепо прогрохотал:

– Прошу вас! Перерыв окончен! Фима! Тамар! Немедленно прикрыть эту пивную! Вся наша страна – более Азия, чем сама Азия! Да что там Азия! Африка! Но в моей клинике еще работают, как в нормальном государстве!

Но все его громыхание было совершенно излишне, потому что Гад Эйтан давно скрылся у себя в кабинете, Тамар ушла в туалетную комнату, чтобы смыть следы слез, и только Фима торчал за стойкой.

В половине шестого вошла высокая золотоволосая женщина в красивом черном платье. Она остановилась у стойки Фимы и спросила, почти шепотом – видно ли по ней? Выглядит ли она ужасно?

Фима, не расслышав вопроса, ответил невпопад:

– Несомненно, госпожа Тадмор. Разумеется, никто не узнает. Вы можете быть совершенно спокойны. У нас полная конфиденциальность. – И хотя он тактично воздержался от соблазна поднять на нее взгляд, но все-таки, почувствовав, что она плачет, добавил: – Вот в коробке бумажные салфетки.

– Вы врач?

– Нет, госпожа моя. Я всего лишь работаю в регистратуре.

– И долго вы уже здесь?

– С самого начала. Со дня открытия клиники.

– Пришлось вам повидать разные сцены, да?

– Иногда бывают здесь нелегкие моменты.

– И вы не врач?

– Нет, госпожа моя.

– Сколько аборт делают у вас в день?

– Сожалею, но не могу ответить на этот вопрос.

– Извините, что спросила. Жизнь вдруг пребольно меня ударила.

– Я понимаю. Сожалею.

– Нет, вы не понимаете. У меня не аборт. Так, небольшая процедура, но достаточно унижительная.

– Мне искренне жаль. Будем надеяться, что теперь вам станет лучше.

– У вас наверняка записано, что они мне сделали.

– Я никогда не заглядываю в истории болезни, если именно это вы имели в виду.

– Вам выпало огромное счастье, что вы не родились женщиной. Вы и предположить не можете, чего именно удалось вам избежать.

– Я сожалею. Налить вам кофе? Чаю?

– Все время вы сожалеете. Почему вы так много сожалеете? Вы ведь даже не взглянули на меня. Все время отводите взгляд в сторону.

– Извините. Я не нарочно. Растворимый кофе? Кофе по-турецки?

– Странно, не правда ли? Я была уверена, что вы врач. Не из-за вашего белого халата. Вы студент? Стажер?

– Нет, госпожа моя. Я только регистратор. Может, предпочитаете стакан воды? У нас есть содовая в холодильнике.

⁵ Палестинский город в 13 километрах к северу от Иерусалима, с 1993 г. административный центр Палестинской автономии.

– Каково это – работать в таком месте столь долго? Да и что это за работа для мужчины? И у вас не появилось отвращение к женщинам? Даже физического отвращения не возникло?

– Пожалуй, нет. Во всяком случае, я могу так говорить в отношении себя самого.

– И что? Женщины не вызывают у вас отвращение?

– Нет, госпожа Тадмор. Совсем наоборот.

– А что же “совсем наоборот” отвращению?

– Симпатия? Любопытство? Трудно объяснить.

– Почему вы на меня не смотрите?

– Я бы не хотел быть... послужить причиной смущения... Вот и вода вскипела. Кофе?

– Смущение – ваше? Или мое?

– Трудно ответить со всей определенностью. Возможно, и мое, и ваше... Не знаю.

– Есть ли у вас имя?

– Зовут меня Фима. Эфраим.

– Меня зовут Аннет. Вы женаты?

– Я был женат, госпожа моя. Дважды я был женат. Почти трижды.

– А я – в процессе развода. Вернее, меня сейчас выставляют за дверь. Вы стыдитесь взглянуть на меня? Бойтесь разочароваться? Или, быть может, хотите быть уверенны, что, встретив меня на улице, вам не придется колебаться, следует со мной поздороваться или нет?

– С сахаром и молоком, госпожа Тадмор? Аннет?

– Вам бы очень подошло быть гинекологом. Больше, чем тому смешному старику, который, заталкивая в меня пальцы в резиновой перчатке, считает нужным развлекать меня анекдотом про кайзера Франца-Иосифа, решившего наказать Господа Бога. Я могу воспользоваться телефоном?

– Разумеется. Пожалуйста. Я буду в комнате, где хранится наш архив. Когда вы закончите, позовите меня, и мы назначим вам новую дату приема.

– Фима, Эфраим. Пожалуйста, взгляните на меня. Не бойтесь. Я не собираюсь околдовывать вас. Давным-давно, когда я была красивой, мужчины падали замертво, глянув на меня, а теперь даже ассистент в клинике не хочет взглянуть на меня.

Фима поднял глаза. И тут же отпрянул. Страдание и сарказм, которые увидел он в ее лице, пробежали по нему судорогой вожделения. Он вновь устался на лежащие на столе бумаги и сказал осторожно:

– Но вы по-прежнему очень красивая женщина. Во всяком случае, на мой взгляд. Вы же хотели позвонить?

– Уже нет. Я передумала. Я о многом передумала. Значит, я не безобразна?

– Напротив!

– Да и вы не раскрасавец. Жаль, что приготовили кофе. Я ведь не просила. Неважно. Выпейте вы. И спасибо вам.

И, уходя, стоя в дверях, она добавила:

– У вас есть мой телефон. Он записан в ваших папках.

Фима обдумывал случившееся некоторое время, выражение “новая страница” казалось ему каким-то пошлым, но он знал, что в другие времена, возможно, смог бы влюбиться в эту Аннет. Но почему же “в другие времена”? Наконец он сказал себе, припомнив давние слова Яэль:

– Твоя проблема, голубчик.

И начал складывать бумаги в ящик, и закрыл комнату с архивом, и пошел вымыть чашки, готовясь завершить рабочий день.

5. Фима в темноте мокнет под проливным дождем

После работы он доехал на автобусе до центра, нашел дешевый ресторан в переулке неподалеку от площади Сиона, съел салат и грибную пиццу, запил кока-колой и сгрыз таблетку от изжоги. Ему не хватило наличных денег, и он хотел расплатиться чеком, но чек не приняли. Фима предложил выход: он оставит свое удостоверение личности, а завтра утром вернется в ресторан и погасит долг. Но ни в одном из карманов куртки, рубашки и брюк не нашел он удостоверения: вчера, а может, в конце прошлой недели, купил он новый электрический чайник взамен сгоревшего и, поскольку наличных ему не хватило, оставил свое удостоверение в магазине электротоваров, однако начисто о том забыл. Или это было в книжном магазине “Стеймацкий”? В конце концов, после отчаянных поисков, из заднего кармана брюк выпала мятая банкнота в пятьдесят шекелей – деньги наверняка туда засунул отец, брюки после этого были в стирке не единожды.

В процессе поисков нашелся еще жетон для телефона-автомата, и Фима отыскал на площади Сиона, перед Домом Сансура⁶, кабинку телефона и позвонил Нине Гефен: он смутно помнил, что ее муж Ури уехал в Рим. Быть может, удастся соблазнить ее выйти из дома и отправиться с ним в кинотеатр “Орион” на французскую комедию с Жаном Габеном, о которой в клинике рассказывала Тамар во время перерыва. Название комедии он так и не вспомнил. Но на другом конце линии прорезался деревянный голос Теда Тобиаса, который сухо спросил с тяжелым американским акцентом:

– Что опять случилось, Фима?

Фима пробормотал:

– Ничего. Только мокну под проливным дождем. Он не понимал, что Тед делает у Нины Гефен. Пока не сообразил, что по рассеянности набрал номер Яэль, а не Нины. И зачем наврал о проливном дожде? Ведь не упало ни единой капли. Но он все-таки сумел перестроиться и спросил, как там Дими и как продвигается операция по устройству крыши над балконом. Тед Тобиас напомнил, что балкон они перекрыли еще в начале зимы. А Яэль повела Дими на спектакль детского театра, и вернутся они часам к десяти. Не хочет ли Фима передать что-нибудь? Фима взглянул на часы, увидел, что еще нет и восьми, и вдруг – совершенно неожиданно для себя – спросил Теда, можно ли вторгнуться к нему, “вторгнуться” в кавычках, разумеется, что есть тема, которую он хотел бы обсудить. И поспешно добавил, что он поужинал и не планирует задерживаться более четверти часа, ну максимум тридцать минут.

– О’кей, – сказал Тед. – Ладно. Только имей в виду, что вечер у нас занят.

Фима догадался, что ему намекают: лучше бы совсем не приходиться, и уж во всяком случае – не оставаться, как он обычно это делал, до полуночи. Он не обиделся, даже щедро предложил прийти в другой раз. Но Тед решительно и вежливо отрезал:

– Полчаса – годится.

Фима порадовался, что нет дождя, поскольку не захватил зонтик и не хотел появляться перед любимой женщиной вымокшим, как уличная собачонка. Отметив, что заметно похолодало, он заключил, что есть надежда увидеть в Иерусалиме снег. От этой мысли ему стало еще радостнее. Из окна автобуса у рынка Махане Иехуда он увидел в свете уличного фонаря черную надпись на стене: “Арабов – вон!” И мысленно перевел ее на немецкий, и заменил “арабов” на “евреев”, и переполнился гневным воодушевлением. Тут же назначил себя президентом страны и решил, что предпримет драматический шаг: в годовщину убийства в араб-

⁶ Камаль Михаэль Сансур – арабский бизнесмен, построил “Дом Сансура” в 1931 году во времена британского мандата. Это здание, возведенное в эклектичном стиле ливанскими архитекторами братьями Самахи, было самым большим и роскошным в центре Иерусалима. Здание и поныне называют Дом Сансура.

ской деревне Дир Ясин отправится туда с визитом и среди развалин произнесет простые, бескомпромиссные слова о том, что евреям Израиля понятна глубина страданий, переживаемых палестинскими арабами на протяжении десятилетий, и, чтобы положить конец этим страданиям, евреи готовы предпринять любой разумный шаг, кроме самоубийства. Подобная речь моментально отзовется эхом в каждой арабской лачуге и, быть может, станет той искрой, что воспламенит эмоциональный отклик. На секунду Фима заколебался: “эмоциональный отклик” или “эмоциональный прорыв” – какое из двух выражений более годится для заголовка статьи, которую он напишет завтра же утром для пятничного, расширенного, номера газеты. Но тут же отверг оба, как и саму идею о статье.

В лифте, поднимаясь на шестой этаж многоквартирного дома в квартале Бейт ха-Керем, он решил, что будет сдержан, сердечен, спокоен, постарается разговаривать с Тедом как равный с равным – и даже на политические темы, хотя обычно Фима вспыхивал через минуту. Его раздражала манера Теда говорить – медленно, взвешенно, с американским акцентом, от которого скулы сводит, с ненормально уравновешенной логичностью, да еще при этом беспрерывно застегивая и расстегивая пуговицы своего элегантного вязаного жилета. Словно он пресс-атташе госдепартамента США.

Две-три минуты стоял Фима перед дверью, не прикасаясь к кнопке звонка, шаркая подошвами о коврик, чтобы не занести в квартиру ни соринки. И вот когда он почти насквозь протер коврик, дверь распахнулась, перед ним возник Тед и помог ему выбраться из куртки, потому что дыра в подкладке рукава превратила куртку в ловушку.

Фима сказал:

– Погода ужасная.

Тед спросил, не полил ли дождь снова.

И хотя дождь перестал еще до того, как Фима покинул клинику, Фима воскликнул:

– Ну и дождь! Потоп!

Не дожидаясь приглашения, он прошел прямо в кабинет Теда, оставляя на полу влажные следы подошв, пролагая свой путь между стопками из книг, графиков, чертежей и компьютерных распечаток, пока его стремительное движение не остановил широкий письменный стол, на котором утвердился мощный компьютер Теда.

Фима уставился на таинственную диаграмму, мерцавшую на экране, – зеленое на черном. Пошутив над своей беспомощностью во всем, что касается компьютеров, Фима принялся уговаривать Теда, будто тот не был здесь хозяином:

– Присядь, Тед, присядь, устраивайся поудобнее, прошу тебя.

А сам без спроса уселся в рабочее кресло Теда, прямо перед экраном.

Тед спросил, что ему налить. И Фима ответил:

– Не имеет значения. стакан воды. Жаль время терять. Или коньяк. Или, впрочем, чего-нибудь горячего. Неважно. Я на несколько минут.

Медленно, четко произнося слова, сухо, словно оператор телефонной станции, Тед Тобиас сказал:

– О’кей. Налю тебе бренди. И ты точно *позитив*, что поужинал.

Фиме вдруг захотелось соврать, сказать, что нет, он не ужинал, что просто умирает с голоду. Но предпочел проявить сдержанность.

Тед сел в кресло-качалку, окутался дымом из трубки и погрузился в молчание. Фима поневоле наслаждался запахом превосходного табака. Он заметил, что Тед пристально разглядывает его со спокойствием, сдобренным неким легким антропологическим любопытством. Казалось, он не удивится, даже глазом не моргнет, если его гость вдруг громко запоет. Или расплачется. Фима, обдумав ситуацию, решил не делать ни того ни другого и начал так:

– Значит, Яэль нет дома. И Дими тоже. Я забыл принести ему шоколад.

– Верно, – отозвался Тед, подавив зевок. И выпустил ароматное сизое облачко.

Фима впери́л взгляд в стопку распечатанных компьютерных чертежей, перебрал листы, словно имел к ним отношение, внимательно сравнил лист номер шесть с листом номер девять, как будто в нем вдруг вызрело решение немедленно приступить к специализации в области аэронавтики. И спросил:

– Что вы тут нам проектируете? Воздушный аппарат, стреляющий пластиковыми пулями? Или летающую машину, обстреливающую демонстрантов щебнем?

– Это наша статья для британского журнала. Нечто экспериментальное пока. Реактивный привод для транспортных средств. Как ты, возможно, знаешь, мы с Яэль работаем над этим уже много лет. Ты частенько просишь, чтобы я объяснил тебе, что к чему, но через две минуты обычно умоляешь, чтобы я прекратил. Но эту *paper*⁷ я *committed*⁸ закончить до конца недели. Есть *deadline*⁹. Может, научишь меня, как сказать на иврите *committed* и *deadline*? Ты ведь все знаешь? Как поэт. Не так ли?

Фима напрягся, осознав, что понятия не имеет, как все это переводится на иврит. Два слова маячили перед ним, ухмыляясь, царапали память игривыми, верткими котятками, исчезающая в тот миг, когда он почти ухватил их. И тут он вспомнил, открыл было рот, чтобы ответить, но слова прямо с языка снова ускользнули в темноту.

– Может, тебе нужна моя помощь? – смущенно пробормотал он.

– Спасибо, Фима, – ответил Тед. – Я не думаю, что в этом есть необходимость. Но тебе удобнее будет подождать в гостиной. Желаеть посмотреть новости?

– Дай мне игру “Лего”, которую любит Дими, – попросил Фима, – построю для него Башню Давида. Или гробницу Рахели. Или еще что-нибудь. Не буду мешать тебе.

– Нет проблем, – отозвался Тед.

– Что значит – “нет проблем”? И вообще, я пришел поговорить с тобой!

– Так пожалуйста, – ответил Тед. – Говори. Что-то случилось?

– Значит, так, – начал Фима без малейшего представления, о чем он собирается говорить, и с изумлением услышал себя: – Ты ведь знаешь, что ситуация на территориях, которые мы удерживаем после Шестидневной войны, просто невыносима.

– Это так выглядит, – спокойно согласился Тед, и в тот же миг Фима будто воочию увидел нестерпимо скучную картину, в мельчайших деталях: вот этот мул, серая посредственность, с бровями как пара кустистых усов, своими тяжелыми руками мнет обнаженное тело Яэль. Вот он усаживается на нее, пристраивает свой член между ее маленькими, тугими грудями, ритмично, натружно трет пенис в ложбинке Яэль, будто пилит доску. Пока глаза Яэль не наполнятся слезами. И глаза Фимы тоже наполнились слезами, он поспешил высморкаться в несвежий носовой платок. Когда он вытаскивал платок, из кармана выпала банкнота в двадцать шекелей – возможно, сдача, которую дали ему в ресторане на площади Сиона, а быть может, и эту сунул ему отец.

Тед наклонился, подобрал купюру и протянул ему. Затем утрамбовал табак в трубке, раскурил ее и выпустил легкое облачко дыма, доставлявшее Фиме не отвращение, как ему хотелось бы, а удовольствие.

– Итак, – сказал Тед, – ты начал с положения на контролируемых территориях. И в самом деле положение сложное.

– По сути, – взорвался Фима, – о каком “положении на территориях” мы говорим?! Какое еще положение? Еще один самообман. Речь идет не о положении на территориях, а о положении в стране. На той территории, что была в наших руках до Шестидневной войны, в границах, которые мы называем “зеленая линия”. О положении, сложившемся в израильском обществе.

⁷ Статья (англ.).

⁸ Обязан (англ.).

⁹ Крайний срок (англ.).

Ведь “территории” – это всего лишь темная сторона нас самих. Все, что происходит там ежедневно, – это лишь наглядная демонстрация той деградации, которой мы подвержены начиная с шестидесят седьмого года. Если не раньше. Да. С самого начала.

– Деградации? – спросил Тед осторожно.

– Деградация! *Degradation! Corruption!* Каждое утро мы читаем газеты, целый день слушаем новости, каждый вечер смотрим новости “Взгляд”, вздыхаем, говорим друг другу, что так далее не может продолжаться, подписываем всякие петиции, но, по сути, мы ничего не делаем. Ноль. Zero. Ничего.

– Нет, не так, – сказал Тед. Набил табаком свою трубку, медленно, сосредоточенно разжег ее и продолжил: – Дважды в неделю Яэль добровольно работает в Комитете толерантности. Рассказывает, что в ближайшее время там произойдет раскол, в этом Комитете. Между прочим, что это за слово такое – “петиция”? На иврите – *ацума*, в женском роде. А ведь слово *ацум* в мужском роде – это и “огромный”, и “зажмуренный”, когда речь идет о глазах. Так что же это за слово такое – “петиция”?

– Петиция? – озадаченно переспросил Фима. – Петиция – это клочок бумаги. Онанизм. – И от переполнявшего его гнева он случайно грохнул кулаком по клавиатуре компьютера.

– Поосторожней, – предупредил Тед. – Если разобьешь мой компьютер, никак не поможешь арабам.

– Кто вообще говорит о помощи арабам! – взревел Фима. – Говорится о помощи нам самим! Это только эти психи из правых пытаются представить нас так, будто цель наша – помочь арабам!

– Не понимаю, – сказал Тед и с несколько преувеличенной значимостью почесал курчавую голову, словно изображая тугодума. – Ты сейчас утверждаешь, будто мы не пытаемся исправить положение арабов?

И Фима начал с самых азов, с трудом умирив свой гнев, и объяснил на самом простом иврите свое понимание ошибок, тактических и психологических, из-за которых умеренное крыло левого движения выглядит для народа так, будто оно солидарно с врагами. И снова рассердился на себя за это бессмысленное слово “народ”. Читая лекцию, он заметил, как Тед украдкой поглядывает на чертежи, разбросанные по ковру, как его волосатый палец приминает табак в трубке. На пальце сверкнуло обручальное кольцо. Понапрасну силился Фима погасить вспыхнувшую в воображении яркую картину того, как этот палец касается сокровенных уст Яэль. И вдруг подумал, что его обманывают, водят за нос, что Яэль, укрывшись в спальне, заливается сдавленным, безмолвным плачем, плечи ее дрожат, подушка залита слезами – как, бывало, плакала она в самый разгар любовных утех и как Дими, случалось, плакал иногда беззвучно из-за какой-нибудь несправедливости по отношению ли к нему, к кому-то из родителей, к Фиме.

– В нормальном государстве, – продолжал Фима, не заметив, что употребил любимое выражение доктора Варгафтика, – в нормальном государстве уже давным-давно организовалось бы движение гражданского неповиновения. Объединенный фронт рабочих и студентов заставил бы правительство прекратить немедленно этот ужас.

– Странно звучит на иврите “неповиновение”, – сказал Тед, – *мери*. Будто это имя женщины... Налью тебе еще бренди, Фима. Это тебя успокоит.

Фима, охваченный лихорадкой и отчаянием, выпил бренди одним большим глотком, запрокинув голову, так обычно залпом пьют водку в фильмах про Россию. Ему снова в мельчайших подробностях представилась картина, как это бревно с бровями-щетками, похожими на металлическую мочалку для чистки сковородок, приносит Яэль стакан апельсинового сока в постель субботним утром, а она, сонная, томная, не открывая глаз, протягивает нежную руку и гладит ширинку его пижамы, которая, конечно же, красного шелка. Картинка эта пробудила в Фиме не зависть, не ревность, не вожделие и даже не гнев – к собственному изумлению,

ему стало жалко этого прямого человека, трудолюбивого, напоминающего рабочую скотину; дни и ночи проводит он перед своим компьютером, пытается усовершенствовать какой-то там реактивный двигатель, и в Иерусалиме у него едва ли найдется хоть один друг.

– Но самое грустное, – сказал Фима, – это полный паралич, сковавший левых.

Тед Тобиас согласился:

– И вправду. Это очень точно подмечено. Нечто похожее было и у нас во времена вьетнамской войны. Будешь кофе?

Фима последовал за ним в кухню.

– Сравнение с Вьетнамом – это ошибка, Тед. Здесь не Вьетнам, и мы – не поколение наивных юношей, раздающих цветы прохожим на улицах. Вторая ошибка – надеяться, что американцы сделают за нас всю работу и вытащат нас из этих “территорий”. Да ведь им плевать, что мы потихоньку проваливаемся в тартарары.

– Верно, – Тед словно похвалил Дими за решение задачки по арифметике, – все верно. Никто никому ничего не должен. Каждый заботится о себе сам. Но даже и для этого не всегда хватает ума.

Он поставил чайник на огонь и начал вынимать чистую посуду из посудомоечной машины.

Фима, взволнованный до предела, судорожными движениями принялся помогать, хотя его об этом не просили: выдернул из машины полную горсть вилок, ножей и ложек, заметался по кухне, распахивая дверцы, вытягивая ящики да так их и оставляя, не зная, куда стгрузить добычу. И, не замолкая ни на секунду, продолжал рассуждать о кардинальной разнице между Вьетнамом и Газой, между синдромом Никсона и синдромом Шамира, нынешнего премьер-министра Израиля. Несколько вилок и ножей выскользнули из его ладони, зазвенели по полу. Тед нагнулся, подобрал, с превеликой кротостью осведомился, каков ивритский вариант знакомого ему слова “синдром”. Уж не изобретен ли для этого явления особый термин?

– Нет, ивритское *тисмонет* – точный эквивалент английского *syndrome*. То, что пережили вы в Америке, – “вьетнамский синдром”.

– Но не ты ли сказал только что, будто сравнение с Вьетнамом – это ошибка?

– Да. Нет. В определенном смысле. Это значит... Возможно, необходимо определить признаки синдрома.

– Сюда, – сказал Тед, – положи во второй ящик.

Но Фима уже сдался, разжал ладонь прямо над микроволновой печью, вытащил из кармана носовой платок, высморкался и в рассеянности стал протирать этим носовым платком кухонный стол, пока Тед разбирал чистые тарелки в соответствии с размером и ставил их на положенные места в шкафчике над раковиной.

– Почему ты не печатаешь все это в газетах, Фима? Напиши, пусть и другие люди прочитают. Ведь у тебя такой богатый язык. Да и на душе у тебя станет лучше, всем же хорошо видно, как ты страдаешь. Ты принимаешь всю эту политику так близко к сердцу, будто это твое личное дело. Через три четверти часа вернутся Яэль с Дими, а мне нужно хоть немного поработать. Как у вас на иврите, говоришь, *deadline*? Знаешь, возьми-ка ты свою чашку с кофе в гостиную, я включу тебе телевизор, еще успеешь посмотреть вторую половину вечерних новостей. Ладно?

Фима согласился, не собирается он торчать у них весь вечер. Но вместо того чтобы взять кофе и пойти в гостиную, он, забыв чашку в кухне, последовал за Тедом через весь коридор. В конце коридора Тед извинился, скрылся в туалете и запер за собой дверь. Перед закрытой дверью Фима и завершил начатую фразу:

– ...И если у вас есть американское гражданство, то вы всегда сможете убежать отсюда, использовать свой реактивный привод, но что будет с нами? Ладно. Пойду посмотрю новости. Не стану больше мешать тебе. Только я понятия не имею, как включается ваш телевизор.

Но вместо гостиной он направился в детскую. И там навалилась на него безмерная усталость. И, не найдя выключателя, в полумраке упал он на маленькую детскую кровать, окруженную силуэтами роботов, самолетов, машин времени. А над ним парила прикрепленная к потолку огромная космическая ракета, нос которой был нацелен точно в голову Фимы, от самого легкого движения воздуха ракета начинала покручиваться вокруг себя, медленно, угрожающе, словно перст указующий, выносящий суровый приговор. Лежа с открытыми глазами, Фима сказал:

– Зачем же все говорить и говорить, все потеряно, и ничего уже не воротишь.

И погрузился в дрему. Сквозь сон он почувствовал, что Тед накрывает его приятным шерстяным одеялом. В голове все мешалось, но он пробормотал:

– Сушую правду, Теди? Арабы наверняка сообразили, что не смогут сбросить нас в море. Но беда в том, что евреи не могут жить без того, кто желает сбросить их в море.

Тед прошептал:

– Да, так себе ситуация.

И вышел.

Фима свернулся калачиком под одеялом, хотел было попросить, чтобы его разбудили, когда придет Яэль. Но пробормотал:

– Не буди Яэль.

Минут двадцать он спал, а когда за стеной зазвонил телефон, проснулся, протянул руки и опрокинул башню, которую Дими построил из “Лею”. Фима попытался сложить одеяло, однако оставил эту затею, потому что торопился найти Теда: ведь он так и не объяснил, зачем пришел. Вместо кабинета он почему-то очутился в спальне, где красноватым теплым светом горел ночник, и увидел широкую постель, уже готовую принять в себя, – две одинаковые подушки, два голубых одеяла в шелковых пододеяльниках, две тумбочки, и на каждой из них – открытая книга, обложкой кверху. Фима зарылся лицом, всей головою в ночную рубашку Яэль, тут же отшвырнул ее и кинулся на поиски своей куртки. С лунатической основательностью он обыскал все комнаты, но не нашел ни Теда, ни куртки, хотя и заходил во все освещенные помещения. Наконец, приземлился на низкой табуретке в кухне, ища глазами те ножи, которым он так и не нашел подходящего места.

В дверях появился Тед Тобиас, в руке – калькулятор. Он медленно-медленно, подчеркивая каждое слово, как солдат, передающий сообщение, произнес:

– Ты немного подремал. Устал. Я могу подогреть твой кофе в микроволновке.

– Нет нужды, – отказался Фима, – спасибо. Я бегу, ибо уже опаздываю.

– А-а... Опаздываешь... Опаздываешь – куда?

– Свидание, – сказал Фима таким тоном, каким обычно говорят меж собою мужчины на свои мужские темы, – совсем забыл, у меня нынче вечером свидание.

И он направился к выходу, начал сражаться с замком и сражался, пока Тед не сжалился над ним: подал ему куртку, открыл дверь и произнес низким голосом, в котором Фиме послышалась непонятная печаль:

– Фима, это не мое дело, но я думаю, тебе нужно отдохнуть. Положение твое несколько... приниженное. Что передать Яэль?

Фима всунул левую руку в рукав, но попал в прореху в подкладке, и туннель рукава превратился в тупик, из которого нет выхода. И тут он вскипел, словно это Тед подстроил всю эту катавасию с курткой, и процедил сквозь зубы:

– Ничего. Мне нечего сказать ей. И вообще я не к ней пришел. Я пришел поговорить с тобой, Теди, да только ты такой *бок*.

Тед Тобиас не обиделся, скорее всего, он просто не понял последнего сленгового слова – “тупица”, проникшего в иврит из идиша. Он ответил осторожно, по-английски:

– Быть может, лучше вызвать тебе такси?

Глубокое раскаяние и стыд охватили Фиму.

– Спасибо, Теди. Нет нужды. Прости мое вторжение. Этой ночью я видел дурной сон, просто сегодня не мой день, наверное. Зря я помешал тебе. Передай Яэль, что вечерами я всегда свободен и охотно побуду с Дими, когда понадобится. И я могу сказать тебе по крайней мере два ивритских аналога английского *committed*. А вот как на иврите *deadline* – не знаю, возможно, “линия смерти”? И кстати, зачем нам на суше нужен реактивный привод? Мало мы носимся и без этого? Может, вы изобретете нечто такое, чтобы мы наконец посидели тихо? Извини и до свиданья, Теди. Не надо было тебе угощать меня бренди. И без выпивки дурак дураком.

Внизу, выходя из лифта, он столкнулся с Яэль. Она держала на руках спящего Дими, закутанного в ее куртку-пилот.

Яэль испуганно и негромко вскрикнула: ребенок чуть было не выскользнул из ее рук. Но тут же, узнав Фиму, сказала устало:

– Ну и болван же ты.

Вместо того чтобы извиниться, Фима бурно обнял их обоих разом – свободной рукой и рукавом-обрубком, стал покрывать лихорадочными поцелуями сонную голову Челленджера, наподобие клюющей голодной курицы, дорвавшейся до корма. А затем Яэль – целовал все, что попадалось ему в сумраке, но лица ее так и не нашел, от плеча до плеча осыпал поцелуями мокрую спину Яэль. И выскочил на улицу, в темень, под проливной дождь. Пророчество его, произнесенное в начале вечера, таки сбылось. *Ну и дождь! Потом!* Вымок Фима до нитки моментально.

6. Будто она была его сестрой

В тот вечер у него все-таки состоялось свидание. Немногим позже половины одиннадцатого Фима, дрожащий от холода, в ботинках, полных воды, позвонил у ворот семейства Гефен. Жили они в иерусалимском квартале Немецкая колония, в окруженном старыми соснами каменном, с толстыми стенами доме, спрятанном в глубине большого двора, обнесенного забором из камня.

– Случайно проходил мимо и увидел свет, – объяснил он Нине нерешительно, – вот осмелился помешать вам, всего на пару минут. Только возьму у Ури книгу о профессоре Лейбовиче и скажу ему, что по трезвом размышлении оба мы правы в споре о войне Ирана с Ираком. Мне лучше зайти в другой раз?

Нина рассмеялась,хватила его за руку и втянула внутрь.

– Ури в Риме. Ты же сам звонил ему в субботу вечером, чтобы попрощаться, и выдал по телефону целую лекцию о том, что для нас было бы лучше, чтобы Ирак победил. Только посмотри на себя. И я должна поверить, что ты случайно прогуливался по нашей улице на ночь глядя? Что с тобой стряслось, Фима?

– У меня была встреча, – пробормотал он, борясь с курткой-капканом, теперь еще и мокрой насквозь.

– Рукав запутался, – пояснил он Нине.

– Так садись здесь, у обогревателя, – велела та.

– Тебя надо просушить. И наверняка ведь ничего не ел. Я сегодня вспоминала тебя.

– И я тебя. Хотел попытаться соблазнить, зазвать в кинотеатр “Орион” на комедию с Жаном Габеном. Я звонил, но ты не ответила.

– Ты же говоришь, у тебя вечером встреча была? А я задержалась на работе до девяти. Импортер всяких штучек для секса обанкротился, и я занимаюсь ликвидацией его бизнеса. Кредиторы – парочка ультраортодоксальных евреев, его свояки. Вот это комедия. Зачем мне Жан Габен? Ладно, давай снимай одежду, выглядишь как котенок, упавший в воду. Вот, глотни немного виски. Жаль, ты себя не видишь. А потом я тебя покормлю.

– Почему ты меня сегодня вспомнила?

– Прочла твою статью в пятничном номере. Совсем неплохо. Быть может, немного категорично. Не знаю, должна ли я тебе это рассказывать, но Цви Кропоткин замышляет организовать поисковую группу, взломать дверь твоей квартиры, вытащить из ящиков все твои рукописи и опубликовать твои стихи, которые – он убежден – ты продолжаешь писать. Чтобы тебя не забыли окончательно. Так что за встреча у тебя была? С русалкой? Под водой? Даже белье мокрое насквозь.

Фима, оставшийся в длинных трусах и в пожелтевшей теплой нижней рубашке, усмехнулся:

– По мне, так пусть меня забудут. Я-то уже забыл. Что, и белье снимать? Продолжаешь ликвидировать секс-шоп? Не планируешь ли и меня передать в руки твоих кредиторов-ортодоксов?

Нина была адвокатом, ровесницей и подругой Яэль, обожала сигареты “Нельсон” и носила очки, придававшие ей облик строгой учительницы. Тонкие седеющие волосы она стригла немилосердно коротко. Худощавая, угловатая, она походила на голодную лису. В том числе и треугольным личиком она напоминала Фиме лисичку, окруженную со всех сторон преследователями. Но груди у нее были налитые, притягивающие взгляд, руки тонкие, точеные, какие бывают у девушек с Юго-Востока. Она протянула ему охапку выглаженной и пахнущей чистотой одежду Ури и приказала:

– Надевай. И выпей это. Сядь у обогревателя. Попробуй помолчать несколько минут. Ирак, похоже, побеждает без твоей помощи. Приготовлю тебе яичницу и салат. Или суп подогреть?

Фима попросил:

– Ничего готовить не надо. Еще пять минут – и я побегу.

– Еще одна встреча?

– Утром я оставил включенным свет во всей квартире. И, кроме того...

– Я отвезу тебя. Когда обсохнешь, отогреешься и поешь. – И Нина добавила: – Яэль мне звонила. От нее я и знаю, что ты ничего не ел. Сказала, что ты изводил Теда. Евгений Онегин из иерусалимского квартала Кирьят Йовель. Молчи.

Ури Гефен, муж Нины, был когда-то прославленным боевым летчиком, затем служил пилотом в национальной авиакомпании “ЭЛ АЛ”. В 1971-м занялся бизнесом, создал разветвленную сеть фирм, занимающихся импортом. В Иерусалиме за ним закрепилась слава покорителя замужних женщин. Весь город знал, что Нина смирилась с его похождениями, что вот уже долгие годы в семье их царит некая платоническая дружба. Иногда любовницы Ури даже становились подругами Нины. Детей у супругов не было, но уютный их дом субботними вечерами давно стал местом встреч дружной иерусалимской компании из адвокатов, армейских офицеров, чиновников, художников и университетских преподавателей. Фима питал симпатию к обоим, и каждый из них – по-своему – опекал его. Фима любил каждого, кто мог его выносить, всей душой он был привязан к старым друзьям, продолжавшим верить в него, побуждавшим к деятельности, сожалевшим по поводу напрасно растроченных его талантов.

На тумбочке, на каминной доске, на книжных полках стояли фотографии Ури Гефена в военной форме и в штатском. Был он человеком крупным, осанистым, шумным, источавшим грубоватое плотское обаяние, которое возбуждало и в женщинах, и в детях, и даже в мужчинах желание быть заключенными в его объятия. Внешне он чуточку напоминал актера Энтони Куинна. Даже манерами – резковатой сердечностью. Во время разговора он обычно прикасался к своему собеседнику, будь то мужчина или женщина, легонько тыкал рукой в живот, обнимал за плечи или клал свою огромную веснушчатую лапищу на колено собеседника. Если был в настроении, то мог рассмешить до слез всех, умел изобразить торговца с колоритного иерусалимского рынка Махане Иехуда, популярного политика, например бывшего министра иностранных дел Аббу Эбана, выступающего перед новыми репатриантами в транзитном лагере, но мог проанализировать, словно между прочим, влияние рассказов Камю на статьи Фимы. Случалось, он откровенно живописал, даже и в присутствии жены, свои успехи у женщин. Рассказывал весело, со вкусом, не насмехаясь над своими возлюбленными, не раскрывая их имен, но и не бахвалясь, с иронией и грустью. Как человек, давно осознавший, что любовь и смех тесно сплетены, что соблазнитель и его жертва – суть рабы стандартного ритуала обольщения, что ложь и лицемерие пронизывают ткань даже настоящей любви и что пролетающие годы делают и тоску, и страдание все менее острыми, все более блеклыми. В своих субботних декамеронах Ури-рассказчик безжалостно высмеивал Ури-любownika.

– Только-только ты начал понимать, что к чему, а глядь – твоя каденция¹⁰ уже тью-тью.

Или:

– Есть болгарская поговорка: “Старый кот помнит лишь, как мяукать”.

В обществе Ури – и в значительно большей степени, чем в объятиях Нины, – Фиму переполняла истинная радость. Ури пробуждал в нем желание произвести впечатление, а то и поразить этого неординарного человека. Превзойти его в споре. Почувствовать его сильную руку. Но не всегда удавалось Фиме победить Ури в споре, ибо Ури был наделен и неотразимым

¹⁰ В современном иврите “каденция” – это не только музыкальный термин, но и политический, означающий “срок действия полномочий”.

острословием, не уступая в том Фиме. Роднила их и та легкость, с какой оба переходили от розыгрыша и шутки к трагическому восприятию сути вещей, а затем столь же непринужденно проделывали обратный путь. Одной фразой каждый из них мог опровергнуть свои же доводы, которые с усердием развивал целых четверть часа.

На этих субботних вечерах у Ури и Нины Фима неизменно бывал в ударе: если уж нашло на него вдохновение, он мог развлекать компанию хоть всю ночь, рассыпая яркие парадоксальные суждения, поражая глубиной политического анализа, смеха и тревожа.

– Фима есть только один, – говорил Ури Гефен с отеческой симпатией.

А Фима подхватывал:

– Но и этого слишком много.

– Нет, вы только посмотрите на этих двоих, – вступала Нина, – Ромео и Джулиус. Лорел и Харди¹¹.

Фима не сомневался, что Ури давно знает об их с Ниной сексуальных утехах, весьма редких, правда. Возможно, в его глазах это даже выглядело забавным. Или трогательным. Быть может, с самого начала Ури был сценаристом, режиссером и продюсером этой маленькой комедии. Случалось, Фима мысленно рисовал, как Ури Гефен встает утром, бреется превосходной бритвой, садится за стол завтракать, белоснежная салфетка расстелена на коленях, заглядывает в свой ежедневник и напоминает Нине, что на этой неделе у Фимы сексуальная профилактика, а не то зачахнет совсем. Но это подозрение никак не умаляло ни его приязни к Ури, ни физической симпатии и духовного воспарения, которые он испытывал в обществе своего харизматичного друга.

Раз в несколько недель, без предупреждения, часов в десять-одиннадцать утра, Нина парковала свой запыленный “фиат” перед многоквартирным домом в квартале Кирыт Йовель и доставала из машины две корзинки, полные продуктов и моющих средств, которые она купила по дороге из своей адвокатской конторы, – этакий социальный работник, настойчивый, преданный делу, не щадящий жизни своей ради изгиба общества. Выпив кофе, она решительными движениями молча сбрасывала одежду. А далее следовал торопливый секс, торопливое вставание с постели – словно два солдата в окопах, наскоро распотрошивших банку консервов в перерыве между бомбежками.

После любовных утех Нина закрывалась в ванной комнате Фимы, со всей тщательностью скребла свое худощавое тело, а затем с тем же воодушевлением драила унитаз и раковину. Только после этого они усаживались пить кофе, обсуждали политику, перспективы правительства национального единства. Нина курила сигарету за сигаретой, а Фима кусок за куском запихивал в себя черный хлеб с вареньем. Никогда не мог он устоять перед искушением растерзать теплую буханку хлеба, которую Нина приносила из маленькой грузинской пекарни.

Кухня Фимы всегда выглядела так, будто ее хозяйева вынуждены были бежать прочь без промедления и оглядки. Пустые бутылки и яичная скорлупа под раковиной, открытые банки на мраморной кухонной стойке, затвердевшие пятна повидла, початые упаковки йогурта, пакеты скисшего молока, крошки, липкие островки на поверхности стола. Нину охватывало воодушевление миссионера, и, засучив рукава, натянув резиновые перчатки, с зажженной сигаретой в уголке рта, она свирепо набрасывалась на кухонный шкафчик, холодильник, стойку, выложенный плиткой пол. За каких-то полчаса она умудрялась обратить Калькутту в Цюрих. Фима наблюдал за ее битвой из кухонной двери, чувствуя себя лишним и продолжая дискутировать с Ниной и с самим собой о крахе коммунизма или о течении в лингвистике, отрицающем теорию языка, выдвинутую Ноамом Хомским. Когда Нина уходила, он преисполнялся стыда, тоски и благодарности, хотел кинуться за ней со слезами на глазах, крикнуть: “Спасибо, любимая, не заслужил я твоих благодеяний...” Но сдерживался и даже торопился открыть окна, чтобы

¹¹ Стэн Лорел и Оливьер Харди – одна из самых знаменитых комедийных пар в истории кино.

выветрился сигаретный дым. Иногда он представлял себе, как лежит больной и Нина за ним ухаживает. Или наоборот: Нина при смерти, а он смачивает ее губы, утирает пот со лба...

Прошло всего лишь десять минут с тех пор, как вынырнул Фима из дождя, и вот уже сидит в замысловатом кресле Ури, том самом, что хозяин окрестил “помесью гамака с колыбельной песней”. Нина подала ему исходящий паром гороховый суп, приправленный специями, подлила виски в стакан, принесла рубашку, брюки и красный свитер Ури, которые были ему непомерно велики, но в которых Фиме сделалось необыкновенно уютно. Дала ему комнатные туфли с мехом, привезенные Ури из Португалии, а одежду Фимы повесила сушиться перед камином. Они поговорили о новейшей литературе Латинской Америки, о магическом реализме, в коем Нина видела продолжение традиций Кафки, а Фима, как назло, склонялся к тому, чтобы определить его как вульгаризацию наследия Сервантеса и Лопе де Веги; ему даже удалось рассердить Нину, сказав, что он отдаст весь этот южноамериканский цирк, с его фейерверками и розовой ватой, залитой густым сахарным сиропом, за одну-единственную страницу Чехова. “Сто лет одиночества” за “Даму с собачкой”.

– Парадокс. Ладно. – Нина закурила новую сигарету. – Но что с тобой будет? Когда уже ты возьмешь себя в руки? Когда перестанешь убегать?

Фима ответил:

– В последнее время я заметил по крайней мере два признака того, что наш глава правительства Ицхак Шамир начинает понимать, что без Организации освобождения Палестины дело не пойдет.

Нина, глядя через толстые линзы своих очков, через сигаретный дым, сказала:

– Иногда мне кажется, что ты совсем пропащий. – Мы оба пропащие, Нина.

Фиму переполняли симпатия и нежность к женщине, сидевшей напротив в потертых мужских джинсах, в широкой мужской рубашке, словно Нина была ему сестрой, часть его самого. Ее некрасота, неженственность вдруг обернулись утонченной до боли, щемящей привлекательностью. Ее большие мягкие груди призывали: “Положи голову в ложбинку меж нами”. Ее короткие седоватые волосы влекли его к себе – до ощущения дрожи в кончиках пальцев. Фима прекрасно знал, как смыть с ее лица выражение загнанной лисички, как сделать, чтобы появилось лицо желанной, томной девушки. Естество его шевельнулось в недрах брюк. Поток великодушия, доброты, сострадания к женщине всегда предшествовал у него сильному желанию. Чресла его опалило вожделением, и ощущение это было сродни боли: два месяца он не прикасался к женщине. Запах намокшей шерсти, исходивший от Яэль, когда он целовал ее спину в темном парадном, смешался с запахом от его одежды, сушившейся перед камином. Дыхание его участилось, губы приоткрылись, задрожали. Нина заметила это и сказала:

– Одну минутку, Фима. Только докурю.

Но Фима, смущенный, весь во власти вожделения и жалости, не обратил внимания на ее слова, рухнул перед ней на колени и тянул ее за ногу, пока Нина не сползла рядом с ним на ковер. На полу он затеял неуклюжую борьбу с одеждами. С превеликим трудом удалось ему устранить зажженную сигарету и очки, живот его терся о ее колени, он осыпал лицо ее поцелуями, словно пытался отвлечь внимание от жадных прикосновений. Но тут ей удалось оттолкнуть его, чтобы освободить их обоих от одежды.

– Осторожно, Фима. Не растерзай меня.

Но он ничего не слышал, он уже во весь рост растянулся на ней, навалившись всем своим весом, не переставая целовать ее лицо, не переставая шепотом, заикаясь, увещевать, упрашивать, оправдываться. И когда она, сжалившись, сказала: “Ладно уж, давай”, естество его вдруг скукожилось. Отступило в укромные складки своей пещеры, словно перепуганная черепаха втянула голову в панцирь.

Но он продолжал целовать и обнимать ее, извиняться за свою усталость, за то что прошлой ночью привиделся ему ужасный сон, а сегодня вечером Тед выставил его из дома, опоив

предварительно бренди, а теперь еще и виски добавился, и, по всему виду, нынешний день – точно не его день.

Две слезинки набухли в уголках близоруких глаз Нины. Без очков она выглядела хрупкой, незащитной, мечтательной, лицо ее было даже более обнаженным, чем тело. И так лежали они долгое время, крепко обнявшись, слившись в одно существо, без движения, словно два солдата под бомбежкой. Смущенные и пристыженные, связанные друг с другом своей пристыженностью.

Пока она не оторвалась от него, ощупью не нашла сигареты, после чего закурила и пробормотала:

– Ничего, малыш...

И столько чувства было в этих словах, что Фима понял: сейчас, в эту минуту, он проник в ее нутро гораздо глубже, чем в момент любовной утехы.

– Давай, малыш, умоешься и уложим тебя спать.

Фима утешно положил голову на ее тонкое плечо и отодвинул подальше очки Нины, потому что стыдился их нагих тел, стыдился своего сморщенного мужества и желал только сжаться в клубок, прильнуть к ней, ничего не видеть и самому стать невидимым. Они лежали на ковре единым существом в свете догорающего камина, вслушиваясь в завывания ветра, залпы ливня по оконным стеклам, журчание водостока, нежные и насытившиеся, будто часами занимались любовью, будто устали от наслаждений.

– Как думаешь, Яэль и Ури занимались этим? – вдруг спросил Фима.

И вмиг рассеялось волшебство. Нина резко высвободилась из его объятий, нацепила очки, завернулась в скатерть, решительными движениями раскурила очередную сигарету и сказала:

– Скажи, почему ты не можешь помолчать хоть пять минут?

А Фима попросил ее рассказать, что именно понравилось ей в его статье.

– Погоди.

Нина встала и вышла. Он слышал, как хлопнула дверь. Спустя минуту донесся шум льющейся воды.

Фима принялся рыться в своей развешанной перед камином одежде, пытаясь отыскать таблетки от изжоги.

– Положение твое несколько... приниженное, – злорадствуя над собой, повторил он слова Теда. И затем слова Яэль: – Ну и болван же ты.

Спустя двадцать минут появилась Нина – с мокрыми волосами, благоухающая, в коричневом домашнем халате, готовая к примирению и сочувствию. Одежда мужа валялась в полном беспорядке на ковре; огонь в камине почти догорел; комнатные туфли, отороченные мехом, что Ури привез из Португалии, обнаружились у входной двери. Фимы не было. Нина отметила, что виски он выпил, но про книгу о профессоре Лейбовиче забыл, как забыл и один из своих носков, так и оставшийся висеть напротив огня, который в этот миг как раз вспыхнул из самых последних сил и погас. Нина собрала одежду, комнатные туфли, убрала стакан и миску из-под супа, забытый носок, расправила уголок ковра, ее тонкие, точеные пальцы китайской девочки отыскивали сигарету.

Она сморгнула слезы и улыбнулась.

7. Тощим кулаком

В четверть седьмого утра он записал в свою коричневую книгу снов все, что случилось с ним ночью. Альбом “Иерусалим в ивритской поэзии”, положенный на согнутые колени, служил столешницей. Дату написал, как всегда, словами, а не цифрами.

Бушевала война. Место было похоже на Голанские высоты, только более засушливое. Фантастический лунный ландшафт. В армейской форме, но без боевой амуниции пехотинца и без оружия, он шел по заброшенной грунтовой дороге, по обеим сторонам которой, знал он, простирались минные поля. Особенно запомнился ему воздух, душный, серый, как перед бурей. Откуда-то издали слышался колокол, звонивший неспешно, с большими перерывами, звон прокатывался эхом по невидимым долинам. Между раскатами колокола воцарялась продолжительная тишина. Ни единой живой души вокруг. Даже птицы. И ни единого признака людского жилища. Нападение было внезапным. Вражеские бронетанковые машины выползли из-за горы, стремясь к узкому перевалу, такому глубокому ущелью, которое Фима заметил еще с того места, где дорога только начала уходить вверх. Он понял, что сероватый оттенок воздуха – от пыли, поднятой гусеницами бронемашин, и наконец услышал приглушенное, но отчетливое в паузах между ударами колокола низкое рычание моторов. Он знал, что у него есть миссия: дождаться врага в ущелье, там, где дорога переваливает через вершину. Задержать их разговорами, пока армейские силы не заблокируют каньон. Он побегал изо всех сил. Дышал тяжело, с хрипом. Кровь стучала в висках. Легкие разрывались. Под ребрами колело. Он бежал, напрягая все мускулы, и тем не менее почти не продвигался, топтался на месте, в панике подыскивая слова, которыми может задержать врага. Он должен немедленно найти фразу, идею, быть может что-то веселое, смешное, что остановит колонну машин, заставит тех, кто сидит внутри, высунуть головы из люков и выслушать его. Если он не изменит их намерения, то хотя бы выиграет время. На него вся надежда. Но силы его иссякли, ноги подкосились, а голова была пуста, не сыскать в ней ни единой мысли. Рев моторов становился все ближе, все мощнее, он уже слышал гром артиллерийской канонады, лай автоматных очередей за изгибом дороги. Видел взблески зарниц в облаке дыма или пыли, заполонившей ущелье, застилавшей глаза, оседавшей в горле. Он опоздал. Не успел добежать. Нет в мире таких слов, что способны остановить продвижение этого бешеного быка, катившегося ему навстречу. Еще минута – и его растопчут. Но сильнее страха был стыд за свой полный провал. За отсутствие слов. Он уже едва волочил ноги, огромная тяжесть придавила его плечи. И когда удалось ему обернуться, он увидел, что на плечах у него сидит мальчик и худыми своими, злыми кулачками лупит его по голове, стискивает ему шею коленками. Он захрипел, задыхаясь.

И еще записал Фима:

Постельное белье уже пахнет. Сегодня надо отнести узел с бельем в прачечную. После сна осталась тоска по тем пустынным горам и странному серому свету, а особенно – по звону колокола, разносившемуся эхом по вади, с долгими перерывами между ударами, как будто долетали они до меня из необозримой дали.

8. Разногласия относительно индусов: кто они

В десять утра Фима стоял у окна, считая дождевые капли, и вдруг увидел Баруха Номберга, который расплачивался с таксистом. Элегантный, в костюме, с галстуком-бабочкой, с седой бородкой клинышком, загибающейся вперед, словно кривой турецкий кинжал. В свои восемьдесят два года он уверенно управлял косметической фабрикой, которую основал в Иерусалиме еще в тридцатые годы.

Отец Фимы склонился к окошку машины – по всей видимости, что-то рассказывал водителю. Седые волосы трепал ветерок, шляпу он держал в левой руке, а трость с серебряным набалдашником – в правой. Фима точно знал, что старик не торгуется и не дожидается сдачи, он просто заканчивает историю, которую начал рассказывать в дороге. Вот уже пятьдесят лет Барух вел для иерусалимских таксистов семинар, одаряя их хасидскими притчами и благочестивыми байками. Рассказчик он был неутомимый и никогда не изменял своему правилу: растолковать каждую притчу или байку, указав, в чем ее поучительный смысл. Рассказав анекдот, на закуску он обязательно указывал, в чем именно его соль, ключевое слово. Бывало, не зная удержу, растолковывал собеседнику, где подлинная соль, а где – мнимая. Его разъяснение анекдотов частенько вызывало у слушателей взрывы бурного смеха, и этот смех вдохновлял старика на новые анекдоты и их вдумчивый анализ. Он считал, что большинство людей не способны уловить соль и его миссия – открыть им глаза. В юности Барух Номберг бежал от большевиков из родного Харькова, изучал химию в Праге, прибыл в Иерусалим и начал производить губную помаду и пудру в маленькой домашней лаборатории. Из этой лаборатории выросла процветающая косметическая фабрика. Старик был щеголем, любил поболтать. Он вдовствовал уже несколько десятков лет, но его окружали подруги, сопровождая во время выходов в свет. В Иерусалиме многие полагали, что женщины тянутся к нему только ради его денег. Фима считал иначе: отец, при всей его шумливости, был человеком хорошим и щедрым. Все годы старик поддерживал финансово любое мероприятие, которое считал справедливым, которое трогало его сердце. Он был членом огромного числа комитетов, комиссий, фондов, рабочих групп и ассоциаций. Постоянный участник кампаний по сбору средств в пользу бездомных, для новых репатриантов, для обеспечения нуждающихся больных, которым требуется сложная операция за пределами страны, для выкупа у арабов земель в Иудее и Самарии, для издания “Книг памяти” еврейских общин, уничтоженных в огне Холокоста, для реставрации исторических развалин, для создания детских яслей для брошенных детей и убежищ для женщин с трудной судьбой. Он поддерживал артистов и художников, не имевших средств, поддерживал тех, кто требовал прекратить опыты над животными в лабораториях, помогал в приобретении инвалидных колясок, *участвовал в* акциях по охране окружающей среды. Не видел никаких противоречий в том, что, жертвуя средства для традиционного еврейского образования, он в то же время финансировал деятельность комитета, борющегося с религиозным засильем. Выделял стипендии студентам из национальных меньшинств – арабам, друзам, черкесам, помогал жертвам насилия, содействовал реабилитации отсидевших свое преступников. В финансирование старик вкладывал вполне разумные средства, но все вместе наверняка съедало и половину дохода от косметической фабрики, и все его свободное время. Вдобавок имелась у него сильнейшая страсть – крючоктворство, чуть ли не на грани obsessions: составляя и подписывая любые договоры, он углублялся в мельчайшие детали и подробности, касалось ли дело приобретения химикатов или продажи старого оборудования; он привлекал целую армию адвокатов, консультантов, аудиторов, стремясь закрыть всякую брешь, предусмотреть любой промах, способный нанести ущерб. Юридические документы, нотариально заверенные бумаги, листы меморандумов предварительных переговоров – все это вызывало в нем радостный азарт, граничащий с возбуждением артиста перед выходом на сцену.

Немногое свое свободное время он проводил в женском обществе. Даже теперь, перевалив за восьмидесятилетний рубеж, он все еще любил посидеть в кафе. И летом и зимой одевался он в элегантные костюмы, с непременно галстуком-бабочкой, треугольник шелкового платка выглядывает из нагрудного кармана пиджака, словно островок снега в знойный день, манжеты рубашки стянуты серебряными запонками, перстень с драгоценным камнем поблескивает на мизинце, клинышек белой бородки торчит вперед перстом указующим, резная трость с серебряным набалдашником покоится меж колен, шляпа лежит на столе. Старец, начищенный до блеска, всегда в компании элегантной разведенной женщины или хорошо сохранившейся вдовы, все его спутницы – образованные уроженки Европы, с утонченными манерами, пятидесяти пяти – шестидесяти лет. Случалось, что он сидел за своим постоянным столиком в кафе в обществе двух или трех дам, угощал их штруделем с эспрессо, а перед ним стоял стаканчик превосходного ликера и вазочка с фруктами.

Такси отъехало, и старик помахал вслед машине шляпой, как всегда делал при расставании. Был он человеком сентиментальным, к каждому расставанию относился так, словно расставался навсегда. Фима спустился по лестнице. Издали ему казалось, что он слышит, как отец напевает себе под нос хасидскую мелодию – “я-ба-бам”. Оставаясь один, старик без перерыва напевал это “я-ба-бам”. Фима иногда спрашивал себя: а не издает ли отец эти звуки и во сне – мерный теплый напев, рвущийся из какого-то внутреннего источника. Будто тело отца слишком мало, чтобы вместить мелодию. Или будто от старости появились в нем микроскопические трещины, и через них просачивается эта нутряная отцовская песенка. Уже на лестнице Фима ощутил особый, знакомый с младенчества запах, который смог бы распознать в любой толпе, – одеколон, смешанный с душком закрытых комнат, старинной мебели, рыбных блюд, вареной моркови, пуховых одеял и едва уловимым букетом сладкого ликера.

Когда отец и сын обменялись легкими, поспешными объятиями, это отцовское благоухание, этот дух Восточной Европы, как считал Фима, вызвал в нем отвращение и одновременно стыд за него и за вечную свою привычку провоцировать отца, развенчав какой-нибудь его святой принцип, вскрыв раздражающее противоречие в его мировоззрении; хоть чуть-чуть, но вывести его из себя.

– Ну, – начал отец, дыша с присвистом после подъема по лестнице, – так что же расскажет мне сегодня мой господин профессор? Явился ли уже Избавитель Сиона? Переполнились ли сердца арабов любовью к нам?

– Привет, Барух, – сдержанно ответил Фима.

– Здравствуй, мой дорогой.

– Что нового? Спина еще болит?

– Спина, – повторил старик. – К нашему счастью, спине на роду написано всегда находиться сзади.

И спина еще там – а я уже здесь. Никогда она не догонит меня. А если, не приведи Господь, догонит – я повернусь к ней спиной. А вот дыхания мне не хватает. Как и настроения. Нынче все наоборот: теперь я гонюсь за хорошим настроением, а не оно за мной. А чем занят герр Эфраим в эти жуткие дни? Продолжает ли он исправлять мир, дабы приблизился тот к Царствию Небесному?

– Нет новостей, – сказал Фима и, принимая из рук отца трость и шляпу, добавил: – Ничего нового. Только государство разлагается.

Старик пожал плечами:

– Эти надгробные речи я слышу уже пятьдесят лет, мол, государство такое, государство сырое, но те, кто нас хоронил, уже давно спят в земле сырой, и уста их прахом забиты, а государство наше все сильнее и сильнее. Наперекор им. Чем больше страданий причиняют они, тем прекрасней наша страна. Не перебивай меня, Эфраим. Позволь рассказать тебе прелестную историю. У нас, в Харькове, во время революции, устроенной Лениным, какой-то глупый анар-

хист ночью написал на стене церкви: “Бог умер”. И подпись: “Ницше”. Он имел в виду безумного философа. Но следующей ночью явился еще больший умник и написал: “Ницше умер”. И подпись: “Бог”. Минутку, я еще не закончил, позволь мне объяснить, в чем же соль этого рассказа, а тем временем поставь-ка чайник и нацеди отцу своему капельку “куантро”, который я принес тебе на прошлой неделе. Между прочим, пришло время побелить твои руины, Фимочка. Дабы злые духи не завладели ими. Ты пригласи маляров, а счет за работу пришли мне. На чем же мы остановились? Стакан чая. Ваш Ницше – один из создателей этой современной пагубной скверны. Мерзейшей мерзости. Вот расскажу-ка тебе историю о том, что случилось, когда Ницше и раби Нахман Крохмаль, историк и философ, ехали вместе поездом в Вену.

По своему обычаю, отец настоял на дополнительных пояснениях, особо отметил, где тут собака зарыта. Фима разразился смехом, потому что, в противовес притче, отцовские комментарии были остроумными и веселыми. Отец, со своей стороны, порадовался смеху Фимы, всегда доставлявшему старику огромное удовольствие, и он тут же решил поведать еще один анекдот о железнодорожном путешествии, на сей раз – молодоженов в их медовый месяц, которым понадобилась помощь контролера.

– Смекаешь, Эфраим, в чем же подлинная соль? Не в поведении невесты, а именно в том, что недотепа-жених оказался невезучим. Истинный недотепа, шлимазл.

Фима произнес про себя слова, услышанные вчера от доктора Эйтана: “Я бы повесил обоих”.

А отец продолжал:

– А еще у нас про растяпу говорили “шлумиэль”. А знаешь ли, Эфраим, чем недотепа отличается от растяпы? Чем шлимазл отличается от шлумиэля? Шлумиэль – это тот, кто всегда проливает горячий чай на брюки шлимазла. Но за этим анекдотом кроется некая тайна, весьма глубокая: эта парочка, шлумиэль и шлимазл, бессмертны. Рука об руку шествуют они из страны в страну, из столетия в столетие, из рассказа в рассказ. Как Каин и Авель. Как Иаков и Исав. Как Раскольников и Свидригайлов. Как наши Рабин и Перес¹². И, кто знает, быть может, как Бог и Ницше. И уж если мы затронули тему железных дорог, то расскажу тебе одну правдивую историю. Однажды генеральный директор Израильской железной дороги отправился на Всемирный съезд управляющих железными дорогами. Вот такая себе *конференция* (это слово старик произнес по-русски). “И отворил Господь уста ослицы”, как сказано в Священном Писании, и наш балабол, взгромоздившись на сцену, все говорит и говорит без умолку. Никак не согнать его с трибуны. И тогда управляющий железными дорогами Америки, которому все это надоело, поднимает руку и задает вопрос: “При всем нашем уважении, простите меня, господин Рабинович, но какова общая протяженность железнодорожных линий Израиля, что вы позволяете себе говорить столь долго?” Ну, наш делегат не растерялся и с помощью Всемогущего, дающего разумение даже простому тетереву, ответил: “Длину наших дорог я не вспомню сейчас точно, уважаемый мистер Смит, но вот ширина железнодорожных путей у нас абсолютно такая же, как и у вас”. Между прочим, эту историю я однажды слышал от одного глупого еврея, вставившего сюда Россию вместо Америки, и этим он ухитрился совершенно испортить соль рассказа, потому что в России ширина железных дорог отличается от нашей, отличается от принятой во всем мире. А почему? А вот так! Пусть будет. Всем назло. Для того чтобы Наполеон Бонапарт, если вздумает вернуться в Россию, не сумел прокатиться в своих вагонах до самой Москвы.

¹² Ицхак Рабин (1922–1995) – премьер-министр Израиля (1974–1977 и 1992–1995)» был убит в 1995 г. студентом-евреем за то, что подписал в 1993 г. “Соглашения в Осло”, в результате чего была создана Палестинская автономия. Шимон Перес (1923–2016) – премьер-министр Израиля (1984–1986), в правительстве Рабина занимал пост министра иностранных дел. Рабин и Перес были извечными соперниками за лидерство внутри своей Партии труда. Оба стали лауреатами Нобелевской премии.

Так на чем мы остановились? Молодожены в медовый месяц. По сути, ничто не препятствует тому, чтобы ты пошевелился и сочетался браком с прелестной женщиной, и будет она тебе законной женой. Если пожелаешь, я с радостью посодействую тебе в поисках прекрасной дамы и все такое. Только поторопись, мой дорогой, тебе ведь не двадцать пять лет, да и меня завтра-послезавтра унесет ветер. “Барух Номберг умер”. И подпись: “Бог”... Самое смешное в истории с молодоженами отнюдь не несчастный жених, просивший билетного контролера объяснить ему, как это работает, то есть что ему делать с невестой. Нет и еще раз нет! Забавляет как раз ассоциация с пробиванием билетов. Впрочем, если обдумать как следует, то скажи-ка, будь добр, ты сам: что же тут такого потешного? Над чем тут надо смеяться? Что тут веселого? Не стыдно ли тебе за ухмылки? Это грустно, даже сердце сжимается. Большинство шуток в мире построено на гнусном удовольствии от несчастий других. А почему же это так, Фимочка, не будешь ли ты столь любезен объяснить мне, ведь ты же историк, поэт, мыслитель. Почему несчастья других доставляют нам столько радости? Вызывают смех? Извращенное наслаждение? Человек, мой дорогой, это парадокс. Весьма странное создание. Экзотическое. Смеется, когда надо плакать, плачет, когда следует смеяться, живет без всякого рассудка и умирает без всякого желания. Подобен человек траве. Скажи мне, виделся ли ты с Яэль в последнее время? Нет? А с маленьким сыном ее? Напомни, чтобы я потом рассказал тебе чудную притчу о раби Элимелехе из Лежайска, притчу о разводе и тоске. Раби подразумевал в притче связь между народом Израиля и Божьим присутствием – Шехиной, хотя я лично имею собственную интерпретацию. Но прежде ты мне поведай, как поживаешь, что подельываешь. Так ведь быть не должно, Эфраим, – я все говорю и говорю, будто директор израильской железной дороги, а ты отмалчиваешься. Как в притче о канторе на необитаемом острове. Потом я тебе и ее расскажу. Только напомни. Было так: один кантор, певший в синагоге в Грозные дни, предшествующие самому святому дню календаря – Судному дню, именно в эти Грозные дни, за десять дней до Судного дня, оказался на необитаемом острове, не про нас будь сказано... Вот, я снова говорю, а ты молчишь. Расскажи же мне о Яэль и мальчике, исполненном меланхолии. Только напомни, чтобы я вернулся к тому кантору: разве, в известном смысле, каждый из нас не уподоблен кантору, пребывающему на необитаемом острове, а еще, в определенном смысле, разве все дни наши не подобны Грозным дням?

Фима уловил присвистывание, легкое, низкое, поднимающееся из груди отца при каждом вдохе, напоминающее мурлыканье котенка. Слово старик шуточки ради спрятал в горле хриплый свисток.

– Пей, Барух. Чай твой стынет.

– Разве чаю просил я у тебя, Эфраим? Я просил тебя говорить. Хочу выслушать тебя. Просил, чтобы ты рассказал мне об этом одиноком ребенке, в отношении которого вы настойчиво обманываете весь свет, что он якобы из семени этого американского бревна. Я просил тебя, чтобы ты хоть немного упорядочил свою жизнь. Чтобы ты наконец-то стал человеком. Чтобы ты хоть немного позаботился о своем собственном будущем, вместо того чтобы заботиться днем и ночью о благополучии дорогих арабов.

– Я, – поправил Фима, – не забочусь об арабах. Уже тысячу раз объяснял тебе. Я забочусь о нас самих.

– Конечно, Эфраим, конечно. Нет того, кто усомнится в ваших намерениях. Беда только в том, что вы обманываете самих себя: якобы твои арабы всего-то и просят вежливенько, мол, отдайте нам назад и Шхем, и Хеврон, а потом ступайте себе домой, веселые и довольные, и да здравствует и народ Израиля, и народ Измаила. Мир евреям и мир арабам. Но не этого хотят они от нас. Иерусалим они хотят, Фимочка, Яфу, Хайфу, Рамле. Немного порезать нас – вот и все, что они хотят. Истребить нас, вычеркнуть из числа народов. Если бы вы потрудились хоть немного послушать то, что они говорят в своем кругу. Да в том-то и беда, что всегда и везде вы слушаете только самих себя. Только самих себя.

И вновь из груди отца вырвалось низкое присвистывание, продолжительное, словно не понимал он наивности собственного сына.

– Они в последнее время говорят несколько иные вещи, папа.

– Говорят. Прекрасно, что говорят. Пусть выложат все, что у них на сердце. Сказать – это очень легко. Просто у тебя они научились петь соловьем, и уста их истекают медом. Поют во все горло. Важно то, чего же они на самом деле хотят. Как говаривал этот грубиян Бен-Гурион относительно евреев и других народов.

Старик намеревался объяснить последние свои слова, но дыхания ему не хватило, и вновь вырвалось из груди присвистывание, завершившееся приступом кашля. Будто внутри на несмазанных петлях болталась дверь, которой играл ветер.

– Сейчас они хотят достичь компромисса, Барух. Нынче мы – упорствующая сторона, отказывающаяся пойти на компромисс, не желающая даже разговаривать с ними.

– Компромисс. Конечно. Прекрасно. Компромисс – вещь замечательная, нет ей равных. Вся жизнь строится на компромиссах. На эту тему есть изумительная притча о раби Менделе из Коцка. Но только с кем ты пойдешь на компромисс? С теми, кто жаждет лишить нас жизни, уничтожить, стереть с лица земли? Вызови для меня такси, чтобы я не опоздал, а пока придет машина, расскажу притчу. Однажды Жаботинский, замечательный писатель и сионист, встретился с известным антисемитом Вячеславом Плевле, министром внутренних дел царской России. И знаешь, что сказал ему Жаботинский?

– Но ведь это был Теодор Герцль, основатель сионизма. Герцль, а не Жаботинский, папа.

– Да ты у меня умник, дорогой, и лучше бы тебе не произносить всеу имена Герцля и Жаботинского. “Сними обувь свою”, как сказано в Священном Писании. Да ведь они там в гробах своих переворачиваются всякий раз, когда ты и твои друзья только рот открываете, оплевывая и понося основы сионизма.

И вдруг переполнился Фима гневом, весь закипел, начисто забыл свой обет сдержанности, с трудом подавил темное желание дернуть отца за козлиную бородку или разбить стакан чаю, к которому старик так и не притронулся. И Фима зарычал, словно раненый лев:

– Ты слеп и глух, Барух. Открой наконец-то глаза свои. Сегодня мы – казаки с нагайками, а они, арабы, каждый день, каждый час – жертвы погрома.

– Казаки, – отозвался отец с деланным равнодушием, в котором сквозила явная насмешка. – Ну и что с того? Чем плохо быть наконец-то один разок казаками с нагайками, для разнообразия? Где написано, что еврею и его преследователю начисто запрещено хоть изредка поменяться ролями? Один раз в тысячу лет или что-то около того? Дай-то Бог, чтобы в тебе, мой дорогой, сидел небольшой казак, а не большой шлимазл. И мальчик твой на тебя похож: овца в овечьей шкуре.

И поскольку старик забыл начало их беседы, то вновь просветил Фиму, гневно ломающего спичку за спичкой, в чем же шлимазл, недотепа, отличается от шлумиэля, растяпы; о том, как эта бессмертная пара шествует по миру рука об руку. Затем он напомнил Фиме, что у арабов есть сорок огромных государств, от Индии до Абиссинии, а у нас одна-единственная страна величиною с ладонь. И начал перечислять арабские страны, с удовольствием загибая костлявые пальцы. Когда старик назвал Индию и Иран в числе арабских стран, Фима не смог больше сдерживаться, прервал отца, затопал ногами, как ребенок:

– Индия и Иран не относятся к арабским странам!

– Ну что же из того? Какая тебе разница? – спросил старик с канторским распевом, хитро улыбаясь при этом, пребывая в отличном настроении. – А разве мы сами для себя нашли удовлетворительный ответ на трагический вопрос “Кто есть еврей?” А без ответа на этот вопрос стоит ли начинать ломать голову над вопросом “Кто есть араб?”

Фима в полном отчаянии сорвался с места и бросился к книжной полке, чтобы выдернуть энциклопедию, надеясь, что этим он наконец-то нанесет отцу сокрушительное поражение,

после которого тому уже не оправиться. Но, словно в жутком сне, он никак не мог вспомнить, какую статью и в каком томе он должен найти, где именно приведен список арабских стран. Он весь кипел, гневно выкорчевывая том за томом, но все же заметил, как отец встал, тихо напевая хасидскую мелодию, тоненько, вперемешку с легким суховатым кашлем, взял свою шляпу и палку и, прощаясь, проворно сунул банкноту в карман Фимы, который бормотал:

– Это просто абсолютно невозможно. Я не могу поверить. Этого быть не может. Это безумие.

Но не стал объяснять, что же, на его взгляд, абсолютно невозможно, потому что отец, уже стоя у открытой двери, добавил:

– Ну ладно. Я уступаю. Пусть уже будет без индусов. Пусть у арабов будет только тридцать девять стран. И этого предостаточно, намного больше того, чего они достойны. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы я и ты, Фимочка, позволили арабам посеять разлад между нами. Этого удовольствия мы им не доставим. Любовь, если можно так выразиться, побеждает разногласия. Такси уже наверняка дожидается, и мы должны дать возможность человеку хорошо исполнить свою работу. Вот, мы снова не добрались до разговора о главном. А главное – это сердце, которое притомилось. Скоро и я отправлюсь в путь, Фимочка, и подпись: “Бог Воинств”. А ты, мой дорогой, что с тобою будет? Что будет с твоим малолетним сыном? Подумай немного, Эфраим. Обмозгуй со всех сторон. Ведь ты мыслитель и поэт. Подумай и скажи мне, пожалуйста, куда мы все идем? Из-за грехов моих нет у меня больше дочек и сыновей, кроме тебя. Да и у тебя, как мне кажется, нет никого, кроме меня. Дни проходят без всякой цели, без радости, без пользы. Через пятьдесят, сто лет в этой комнате будут люди, которые еще не родились, поколение мощное, героическое, и вопрос – были ли здесь когда-то ты и я или нас не было? И уж если были – то для чего мы, что сделали в нашей жизни, были мы порядочными или злодеями, радостными или несчастными, принесли ли мы какую-либо пользу – все это в глазах будущего поколения не будет стоять и выеденного яйца. Не посвятят нам даже одной минуты своих раздумий. Просто они станут жить своей жизнью так, как они это понимают, будто и ты, и я, и все остальные – это лишь прошлогодний снег, не более того. Горсть пыли, унесенная ветром. А у тебя здесь плоховато с воздухом. Затхло тут у тебя. Кроме маляра, тебе, пожалуй, нужен еще целый батальон мастеров. А счет, пожалуйста, пришли мне. Что же до казаков с нагайками, Эфраим, то уж лучше оставил бы ты их в покое. Что знает такой парень, как ты, о казаках? Вместо того чтобы размышлять о казаках, хорошо бы перестал ты растрачивать сокровища жизни. Ты как можжевельник в пустыне. Одинокий. Прощай.

И не дожидаясь Фимы, который дернулся проводить его, помахал старик шляпой, словно расставался навсегда, и стал спускаться по лестнице, ритмично постукивая тростью по перилам, тихо напевая хасидскую мелодию.

Есть так много вещей, которые могли бы мы обсуждать, сравнивать.

У Фимы оставалось еще два часа до начала работы. Он решил поменять постельное белье, а заодно сменить и рубаху, и белье нательное, и полотенца в кухне и ванной, завезти все по дороге на работу в прачечную. Войдя в кухню, чтобы снять с крючка полотенце, он увидел, что раковина забита грязной посудой, сковородка вся в пригорелых ошметках, на столе – окаменевшее варенье в банке, крышка от которой давно утеряна. Гнилое яблоко, окруженное роем мух, лежало на окне. Фима взял его осторожно, большим и указательным пальцами, словно ухватился за отворот рубашки заразного больного, и отправил яблоко в мусорное ведро под раковиной. Но и ведро оказалось переполнено, яблоко скатилось с мусорного холмика, найдя себе укрытие меж старыми аэрозольными баллончиками и моющими средствами. Достать его оттуда можно было, только скорчившись в три погибели и протиснувшись в шкафчик. Фима решил, что на сей раз никаких компромиссов, не станет и дальше идти на уступки и изловит беглеца, чего бы ему это ни стоило. Если удастся, то это будет добрый знак, день задался, и тогда на крыльях удачи слетит он вниз и опорожнит ведро. А на обратном пути непременно

вспомнит о почтовом ящике и извлечет из него наконец газеты и письма. Но он сделает и больше – вымоет посуду, наведет порядок в холодильнике, даже если придется отложить возню с постельным бельем.

Но, опустившись на колени, словно собирался бить поклоны, Фима принялся искать яблоко и обнаружил за ведром целые залежи: половину засохшей булки, обертку от маргарина со следами жира, перегоревшую из-за вчерашних перебоев с электричеством лампочку – и тут же подумал, что, возможно, она вовсе и не перегорела. И вдруг перед ним возник таракан, усталый и безучастный, равнодушно покачивающий усиками, как показалось Фиме. Он даже не пытался убежать. Фиму тут же охватила жажда убийства. Стоя на четвереньках, он исхитрился стянуть с ноги ботинок, занес его над насекомым, но вдруг пожалел, припомнив, что именно так, ударом молотка по голове, агенты Сталина убили Льва Троцкого, пребывавшего в мексиканском изгнании. И с изумлением понял, до чего Троцкий на последних своих фотографиях похож на его отца, недавно снова приходившего уговорить его, Фиму, завести семью. Ботинок застыл в руке. С удивлением он всматривался в тараканьи усищи, такие чуть пошевеливающиеся два полукруга. И еще он заметил щетинки, жесткие, коротенькие, похожие на усики. Разглядел тонкие суставчатые ножки. Открыл для себя удлинённые, искусно выточенные крылья. И преисполнился благоговения перед тем, как безупречно сотворено это существо, казавшееся ему уже не отвратительным, а, напротив, истинным совершенством. Представитель ненавидимой расы, преследуемой, изгнанной в клоаку, – расы, умеющей выживать, упорной, проворной, вынужденной защищаться лишь хитростью потемок, с незапамятных времен ставшей объектом омерзения, проистекающего из страха и примитивных предрассудков, что передаются из поколения в поколение. А что, если именно изворотливость этой расы, именно жалкое ее существование, уродство и безобразность, ее воля к жизни внушают нам страх и ужас? Страх перед жадной убийства, которую вызывает в нас само их появление? Страх пред тайной живучести этого создания, которое не жалит, не кусает, держится на расстоянии? И Фима отступил, вежливо, молча. Водворил ботинок на ногу, постаравшись не замечать запах от носка, и мягким движением закрыл дверцу шкафчика, дабы не напугать насекомое. Затем со вздохом поднялся и решил отложить на другое утро хлопоты по наведению порядка в доме, ибо наверняка подобных созданий здесь множество, надоедливых, докучливых, и несправедливо разбираться с одним-единственным.

Он включил электрический чайник, собираясь приготовить себе кофе, радио он настроил на станцию с классической музыкой, ему удалось попасть на самое начало “Реквиема” композитора Форе, и при первых трагических звуках музыки он, расчувствовавшись, подошел к окну и какое-то время глядел на горы в окрестностях Вифлеема. Люди, о которых говорил его отец, те, что еще не родились, но через сто лет будут жить в этой комнате, ничего не зная ни о Фиме, ни о его жизни, – но неужели не пробудится любопытство, не захотят они узнать о тех, кто жил здесь в 1989 году? Но отчего бы им хотеть знать об этом? Да и есть ли в его жизни нечто такое, что окажется полезным тем, чьи родители даже не родились еще? О чем будут думать они, стоя у этого окна зимним утром 2089-го? Через сто лет уже наверняка транспортные средства на реактивном приводе станут обыденностью, и потому не будет никакой особой причины вспоминать Яэль и Теди, не вспомнят они и Нину, и Ури, и всех их друзей, и Тамар не вспомнят, и двух гинекологов. Даже исторические исследования Цви Кропоткина безнадежно устареют. Самое большее, что от них останется, – сноски в каком-нибудь томе, который никто не открывает. Пустой, бессмысленной, нелепой показалась Фиме зависть, которую он питал к Цви. Зависть, которую он упорно отрицал, тайная зависть, выедавшая его изнутри, подавляемая бесконечными спорами. Он отлавливал Цви по телефону и внезапно спрашивал про короля Албании, изгнанного из страны, ввязывался в раздражающую обоим дискуссию об албанском исламе и истории Балкан. Ведь экзамены на степень бакалавра он сдал чуть-чуть лучше, чем друг Цви. Ведь несколько блестящих идей Фимы тот использовал в своих

работах и, вопреки всем Фиминым протестам, настоял, чтобы отметить его благодарственным упоминанием. Ему бы только превозмочь усталость, и он снова сумеет рвануться, преодолеет отставание, в котором повинен “год козла”, и, глядишь, за два-три года обойдет этого заурядного, захваленного профессора в спортивном блейзере, обожающего пускать пыль в глаза своими трюизмами. Камня на камне не оставит от башен, возведенных Кропоткиным. Опровергнет, расшатает, словно разрушительная буря, словно землетрясение. А затем возведет новое здание. И в конце следующего века студент упомянет об устаревшем подходе иерусалимской исторической школы Нисана – Кропоткина, переживавшей расцвет в конце двадцатого века; то был закат социоэм-пирической методологии, страдавшей гиперэмоциональностью, пользовавшейся громоздким интеллектуальным инструментарием. Даже не потрудится этот студент провести грань между ними. Соединит имена через тире и закроет скобки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.